ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Леви Тидхар

Мемориальная
премия
Джона Кэмпбелла

«Квинтэссенция
научной фантастики в одной книге».
Уоррен Эллис

fanzon.neo
ФАНТАСТИКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

250 000 мигрантов остались жить у подножия гигантского космического вокзала. Культуры сплавились вместе, как реальность и виртуальность. Город вокруг продолжает расти, словно сорняк. Жизнь дешева, а инфа ничего не стоит. Борис Чонг возвращается домой с Марса. Многое изменилось. У него появился ауг – марсианский симбионт, меняющий восприятие. Бывшая любовница воспитывает странного ребенка, способного «касаться» сознанием потоков данных. Двоюродная сестра влюблена в роботника – поврежденного киборга, ветерана войн, о которых уже никто не помнит. Отец неизлечимо болен раком памяти. А следом за Борисом тайно прилетает инфо-вампир. Над ними всеми возвышается Центральная станция, межпланетный узел между Землей и космическими колониями, куда человечество во всем своем многообразии ушло, чтобы избежать войн и бедствий. Все связано с Иными, могущественными сущностями, которые через Разговор, глобальную сеть потока сознания, вызывают безвозвратные изменения. Люди и машины Центральной станции продолжают приспосабливаться, процветать и эволюционировать…

- Леви Тидхар
  -
  -
  - Пролог
  - Один: Унижение дождем
  - Два: Под навесами
  - Три: Запах апельсиновых рощ
  - Четыре: Властелин Ненужного Старья
  - Пять: Стрига
  - Шесть: Волокна
  - Семь: Роботник
  - Восемь: Книготорговец
  - Девять: Боготворец
  - Десять: Оракул
  - Одиннадцать: Сердцевина
  - Двенадцать: Владимир Чонг решает умереть
  - Тринадцать: Рождение
  - Действующие лица
  - Об авторе
  - От переводчика

Леви Тидхар
Центральная станция

© Н. Караев, перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

Пролог

Впервые я прилетел на Центральную зимой. На лужайке сидели африканские беженцы с невыразительными лицами. Они чего-то ждали, но чего – я не понимал. У скотобойни два филиппинских ребенка играли в самолетики: разведя руки в стороны, жужжали, кружили и палили из воображаемых подкрыльных пулеметов. За прилавком филиппинец рубил мясницким ножом грудину, дробя мясо и кости на отдельные порции. Чуть дальше стоял лоток с шаурмой «Рош ха-Ир» – его дважды взрывали террористы-самоубийцы, однако он, как обычно, был приглашающе открыт. По шумной улице плыли ароматы бараньего жира и тмина; у меня засосало под ложечкой.

Светофоры мигали зеленым, желтым, красным. На той стороне улицы мебельный магазин выпростал на тротуар щупальце из безвкусных кроватей и стульев. Сбившиеся в стайку наркари болтали, сидя на обожженном фундаменте старого автовокзала. Я смотрел на мир сквозь темные очки. Солнце висело высоко в небе, и, хотя воздух был холодный, зима стояла средиземноморская – светлая и на тот момент сухая.

Я побрел по пешеходной улице Неве-Шанаан. Нашел укрытие в крохотном шалмане: пара деревянных столов и стульев, маленькая стойка, предлагающая пиво «Маккаби» и что-то еще. Нигериец за стойкой взирал на меня без всякого выражения. Я попросил пива. Сел, достал блокнот и ручку, уставился на страницу.

Центральная станция, Тель-Авив. Настоящее. Ну или одно из. Новая атака на сектор Газа, грядут очередные выборы, на юге, в пустыне Арава, строят массивную разделительную стену, чтобы остановить прибывающих беженцев. Беженцы уже в Тель-Авиве, скапливаются в районе старого автовокзала на юге города, 250 тысяч человек, экономические мигранты, селящиеся тут с молчаливого согласия горожан: тайцы, филиппинцы, китайцы. Я отхлебнул пива. Гадкое. Я стал буравить взглядом страницу. Моросило.

Я написал:

> *Некогда мир был молод. Корабли Исхода едва начали покидать Солнечную систему; еще не открыли планету Хэвен; доктор Новум пока не вернулся со звезд. Люди жили так, как жили всегда: под солнцем и дождем, любя и не любя, под голубым небом и в Разговоре, и это все о нас – всегда.*

Так было на старой Центральной станции, в огромном космопорте, который возвышается над пейзажами-близнецами арабской Яффы и еврейского Тель-Авива. Это случилось среди арок и булыжников, там, откуда до моря рукой подать: в воздухе витает запах смолы и соли, солнечные змеи и их крылатые серферы пикируют и вновь взмывают в небеса на рассвете.

Да, в то время появлялись удивительные дети: об этом вы еще прочтете. Вы, конечно, думали о детях Центральной. Думали вы и о том, как случилось, что стригу пустили на Землю. Центральная – лоно, из которого человечество выползло, цепляясь зубами и ногтями, к звездам.

Но это и отчий дом Иных, детей цифромирья. В каком-то смысле это и их история тоже.

Здесь тоже есть смерть, разумеется; без нее не обходится. И Оракул, и альте-захен Ибрагим, и многие другие, чьи имена могут быть вам знакомы…

Но вы и так это знаете. Вы наверняка видели «Возвышение Иных». Там рассказано обо всем, разве что герои – сплошь красавцы и красавицы.

Это случилось очень давно, однако наша память крепка; и мы шепотом пересказываем друг другу старинные истории, невзирая на эоны, и остаемся жить между звездами.

Все началось с мальчика: он ждал отца, который все не прилетал.

В старинных историях на Землю однажды падает человек со звезд…

Один: Унижение дождем

Запах дождя застал их врасплох. Весна; аромат жасмина мешается с гулом электробусов; птичьими стаями кружат по небу солнечные глайдеры. Амелия Ко делает кваса-кваса-ремикс кавера Сьюзен Вонг на «Хочешь танцевать?» Первые серебряные пелены обрушиваются на город почти беззвучно; дождь глотает хлопки выстрелов, гасит горевший на улице багги, добирается до бездомного старика с рулоном туалетной бумаги в руке, присевшего по нужде у помойки, спустив серые портки до лодыжек; старик матерится, но беззлобно. Он привык к унижению дождем.

Некогда город получил имя Тель-Авив. К югу от него воспарила в атмосферу Центральная станция, опоясанная паутиной старинных малошумных хайвеев. Крыша станции вознеслась высоко и оттого невидима; ее машинно-гладкая поверхность принимает и отправляет в полет стратосферные транспорты. Вдоль тела станции пулями летают вверх и вниз лифты, а в самом нижнем аду вокруг космопорта суетится под лютым средиземноморским солнцем рынок, наводненный коммерцией, гостями и горожанами, а также стандартным набором карманников и личинников.

Мы скользим с орбиты вниз, к Центральной станции, перепыгиваем на уровень улицы и из проветриваемого кондиционерами лиминального пространства ныряем в нищету портовых кварталов, туда, где Мама Джонс и мальчик Кранки стоят, держась за руки, и ждут.

Дождь застал их врасплох. Космопорт, громадный белый кит, подобно живой горе высящийся над городской подошвой, притягивает строй облаков – сам себе миниатюрная погодная система. Как острова в океане, космопорты локализуют дожди, облачность, а также крепнущую отрасль мини-ферм, лишайником разрастающихся на обширных сооружениях.

Дождь был теплым, дождинки – тучными; мальчик вытянул руку и поймал каплю в чашечку пальцев.

Мама Джонс, родившаяся здесь, в этом многоименном городе от отца-нигерийца и матери-филиппинки, в этом районе во время оно, когда дороги еще гудели, вторя двигателям внутреннего сгорания, а Центральная полнилась не суборбиталями, но автобусами, – Мама Джонс помнила войны и разруху, помнила, как нежеланна была в стране, за которую сражались арабы и евреи, – и смотрела на мальчика с гордостью, готовая защищать его до последней капли крови. Тонкая блестящая пленка, вроде

мыльного пузыря, появилась между пальцами Кранки; мальчик источал силу и манипулировал атомами, чтобы создать вот эту штуку, защитную снежную сферу, пленившую единственную каплю дождя. Сфера парила, не касаясь пальцев, совершенная и не подвластная времени.

Мама Джонс ждала чуть нетерпеливо. Она владела шалманом в старом Неве-Шанаане, в пешеходной с давних пор зоне, под самым боком космопорта, и ей пора было возвращаться.

– Пойдем уже, – сказала она не без грусти. Мальчик перевел на нее темно-синие глазищи; эту совершенную синеву запатентовали лет двадцать или тридцать назад, потом геноклиники дорвались до нее, рипнули, хакнули – и теперь перепродавали беднякам за сущие гроши.

Говорят, в южных районах Тель-Авива клиники лучше, чем в Тибе и Юньнани, но Мама Джонс в этом сомневалась.

Дешевле – да, не отнять.

– Он прилетит? – спросил мальчик.

– Не знаю, – ответила Мама Джонс. – Может быть. Может, сегодня и прилетит.

Мальчик снова посмотрел на нее и улыбнулся. Улыбка делала его совсем ребенком. Он выпустил странный пузырь, и тот взмыл из руки вверх: единственная застывшая капля внутри устремилась сквозь дождь к породившим ее облакам.

Мама Джонс вздохнула и с тревогой взглянула на мальчика. Его имя, Кранки, – не имя как таковое. Это словечко астероид-пиджина, перемешавшего старые южнотихоокеанские контактные языки Земли, которые привезли с собой в космос шахтеры и инженеры, дешевая рабсила малайских и китайских компаний. От старого английского cranky: или брюзга, или безумец, или…

Просто чудик.

Человек, делающий что-то такое, чего другие не делают.

На астероид-пиджине это что-то называлось «накаймас».

Черная магия.

Маме Джонс было тревожно за Кранки.

– Он прилетит? Это он?

К ним шел высокий мужчина с аугом за ухом, с загаром, какой получают от машин, и шел он шатко, как бывает с теми, кто не привык к гравитации. Мальчик потянул Маму Джонс за руку:

– Это он?

– Может быть, – сказала она, ощущая всю безнадежность ситуации. Так было всякий раз, когда они с Кранки повторяли маленький ритуал, каждую пятницу перед наступлением шаббата, когда последний груз пассажиров прибывал в Тель-Авив из Лунопорта, марсианского Тунъюня, Пояса, других городов

Земли – вроде Нью-Дели, Амстердама и Сан-Паулу. Каждую неделю, потому что мать мальчика перед смертью поведала ему, что отец вернется, что он богат и работает далеко-далеко, в космосе, что однажды он точно возвратится, именно в пятницу, чтобы не опоздать к шаббату, – и позаботится о сыне.

А потом пошла, ширнулась христолётом, вознеслась на небеса в белом пламени – и узрела Господа, пока ей усиленно промывали желудок, но врачи опоздали, и Мама Джонс без особой охоты взяла на себя заботу о мальчике, потому что больше некому.

На севере, в Тель-Авиве, евреи жили в небовысях, на юге, в Яффе, арабы вернули себе старую вотчину у моря. Здесь, посередине, по-прежнему жил *народ земли*, которую называли по-разному – Палестина, Израиль; люди, чьи предки приехали сюда как разнорабочие со всех концов света: с Филиппинских островов, из Судана, Нигерии, Таиланда и Китая; их дети родились здесь, и дети их детей, и говорили они на иврите, арабском, астероид-пиджине – почти универсальном языке космоса. Мама Джонс заботилась о мальчике, потому что больше некому, – и по всей стране для всех ее анклавов правило было одно. *Мы заботимся о своих.*

Потому что больше некому.

– Это он! – Мальчик тянул ее за руку. Мужчина направлялся к ним, и что-то знакомое в его походке, в его лице вдруг смутило Маму Джонс. Неужели мальчик прав? Но это невозможно, Кранки еще не ро…

– Кранки, стой!

Мальчик, не отпуская ее руку, бежал к мужчине, а тот, увидев несущихся на него мальчика и женщину, испуганно замер. Запыхавшись, Кранки остановился:

– Ты мой отец?

– Кранки! – сказала Мама Джонс.

Мужчина не шевелился. Потом сел на корточки, оказавшись с мальчиком лицом к лицу, всмотрелся в него серьезно и напряженно.

– Возможно, – сказал он. – Мне знакома эта синева. Она, я помню, была одно время в моде. Мы хакнули опенсорсную версию фирменного кода «Армани»…

Он поглядел на мальчика, потом постучал по аугу за ухом – марсианскому аугу, с тревогой отметила Мама Джонс.

На Марсе есть жизнь – не древние цивилизации, о которых грезили в прошлом, но все-таки жизнь, мертвая и микроскопическая. Кто-то нашел способ переконструировать ее генетический код – и создал аугментированные блоки…

Инопланетных симбионтов не понимал никто – и мало кто этого хотел.

Мальчик застыл, потом расплылся в блаженной улыбке. Он сиял.

– Хватит! – сказала Мама Джонс. Она толкнула мужчину, тот едва не потерял равновесие. – Хватит! Что вы творите?

– Я…

Мужчина покачал головой. Постучал пальцем по аугу. Мальчик будто оттаял и растерянно посмотрел по сторонам, словно потерялся.

– У тебя нет родителей, – продолжил мужчина. – Тебя вырастили в лабе, здесь, схакнули из геномов общего пользования и битого нода с черного рынка. – Он сделал вдох. – Накаймас, – добавил он и отступил на шаг.

– Хватит! – повторила Мама Джонс бессильно. – Он вовсе не…

– Я знаю. – Мужчина вновь обрел спокойствие. – Простите. Он говорит напрямую с моим аугом. Без интерфейса. Выходит, я тогда сработал лучше, чем думал.

Что-то было в его лице, в его голосе; внезапно у Мамы Джонс сдавило грудь – давно забытое чувство, странное и беспокойное.

– Борис? – спросила она. – Борис Чонг?

– Что? – Он поднял голову и впервые удостоил ее вниманием. Теперь она видела его ясно: жесткие славянские черты, темные китайские глаза – всю его сборку, постаревшую, побитую пространством и временем, и все-таки это он…

– Мириам?

Тогда ее звали Мириам Джонс. Мириам – в честь бабушки. Она попыталась улыбнуться, не смогла.

– Это я, – сказала она.

– Но ты же…

– Я никуда не уехала, – сказала она. – В отличие от тебя.

Мальчик смотрел в точку между ними. Понимание и последовавшее разочарование исказили его лицо. Над головой Кранки собирался дождь, стягивался из воздуха, образуя дрожащую водяную пелену, преломлявшую солнце в маленькие радуги.

– Мне нужно идти, – сказала Мириам. Уже очень давно никто не звал ее Мириам.

– Куда? Подожди… – Борис Чонг неожиданно смутился.

– Зачем ты вернулся?

Он пожал плечами. За ухом пульсировал марсианский ауг, паразитирующая форма жизни, питающаяся хозяином.

– Я…

– Мне нужно идти. – Мама Джонс, Мириам; некогда – Мириам; та ее часть, давно похороненная, пробуждалась внутри, и оттого ей сделалось странно и неуютно; она дернула мальчика за руку, мерцающая водяная пелена над ним разорвалась, опала, не коснувшись его тела, нарисовала на мостовой идеальную мокрую окружность.

Каждую неделю Мама Джонс молча потакала немому желанию мальчика, вела его к космопорту, к этому блистающему уродству в самом сердце города, и они смотрели – и ждали. Мальчик знал, что вырос в чане, что его не вынашивало ничье материнское чрево, что он появился на свет в пошлой лаборатории: краска на стенах облупилась, искусственные матки то и дело ломаются, – но ведь спросом пользовались и забракованные зародыши; спросом пользовалось все.

Однако, как и все дети, Кранки никогда в это не верил. В его сознании мать и правда *улетела* на небеса, прибыла к райским вратам на христолёте, и отец в его сознании должен был возвратиться, ровно как мать обещала: сойти с небес Центральной станции и спуститься в его район, неприветливо зажатый между Севером и Югом, между евреями и арабами, – и найти Кранки, и дать ему любовь.

Мама Джонс вновь потянула мальчика за руку, и тот пошел с ней, и ветер шарфом обернулся вокруг него, и она знала, о чем он думает.

Может быть, на следующей неделе он прилетит.

– Мириам, подожди!

Борис Чонг, некогда красавец; тогда и она была красавицей, давно это было, мягкими весенними ночами они лежали на крыше старого дома, набитого прислугой богатеев Севера; они свили гнездышко между солнечными батареями и ветроуловителями, маленькое прибежище из старых, выброшенных на помойку диванов и цветистого ситцевого навеса из Индии с политическими слоганами на языке, которым не владели ни она, ни он. Там они лежали, упиваясь своими нагими телами на высокой крыше, весной, когда воздух жарок и напоен ароматами сирени и кустов жасмина, поздно зацветшего внизу, благоухавшего по ночам, – под звездами и огнями космопорта.

Она не остановилась, до шалмана было рукой подать, мальчик шел рядом, а этот мужчина, ныне чужак, некогда юный и красивый, шептавший ей на иврите слова любви, только чтобы бросить ее, давно, так давно это было…

Мужчина следовал за ней, мужчина, навсегда ею забытый, и ее сердце билось все чаще, старое сердце из плоти и крови, которое она так и не сменила. Но Мама Джонс шагала дальше,

мимо лотков с овощами и фруктами, мимо геноклиник, мимо торгующих поношенными снами загрузцентров, мимо обувных лавок (всем и всегда надо обуваться), мимо клиники освобождения, мимо суданского ресторана, мимо помоек и в конце концов пришла к своему шалману «У Мамы Джонс», убогому трактирчику, что втиснулся между обивочной и нодом церкви Робота, ведь всем и всегда требуется переобивать старые кресла и диваны – и всем и всегда нужна вера, какая б ни была.

И бухло, думала Мириам Джонс, входя внутрь: надлежаще приглушенный свет, деревянные столы, на каждом скатерка, ближайший нод транслировал бы выборку программных фидов, если бы его не так давно не перебили на южносуданский канал, показывающий ералаш из священных проповедей, никогда не меняющихся прогнозов погоды и дублированных повторов долгоиграющего марсианского мыла «Цепи сборки», – вот и все.

Высокая барная стойка предлагает палестинское пиво «Тайба» и израильское «Маккаби» в разлив, русскую водку местного производства, ассортимент безалкогольных напитков и лагера в бутылках, кальян для клиентов и доски для нардов для них же; приличная пивнуха, доход дает небольшой, но хватает на еду, аренду и заботу о мальчике, так что Мама Джонс своим бизнесом гордилась. Это было ее место.

Внутри наблюдалась жалкая горстка завсегдатаев; два докера из космопорта вели любезную беседу, деля после смены кальян и потягивая пиво, плескался в ведре с водой лакавший арак осьминоид, и еще Исобель Чоу, дочь подруги Мириам, Ирены Чоу, сидела, будто глубоко задумавшись, с мятным чаем. Мириам на ходу легонько дотронулась до плеча девочки, но та не шелохнулась. Она была в глубоком виртуалье, иначе говоря, в Разговоре.

Мириам прошла за стойку. Вокруг со всех сторон кипел, гудел и взывал нескончаемый трафик Разговора, но подавляющую часть фидов она просто выключала из сознания.

– Кранки, – сказала Мама Джонс, – думаю, тебе пора домой, делать уроки.

– Уже, – ответил мальчик. Он внимательно смотрел на ближайший кальян и одной рукой лепил из голубого дыма ровный гладкий шарик. Кранки был поглощен этим занятием. Мама Джонс стояла у кассы и почти расслабилась, ощущая себя царицей в своих владениях, и тут услышала шаги; мелькнула тень – и высокий, тонкий силуэт мужчины, которого она знала давным-давно под именем Бориса Чонга, скользнул внутрь, пригнувшись в слишком низком проходе.

– Мириам, мы можем поговорить?

– Что будешь пить?

Она указала на полки за спиной. Зрачки Бориса Чонга расширились, и по позвоночнику Мамы Джонс пробежал холодок. Борис безмолвно общался со своим марсианским аугом.

– Ну?.. – получилось резче, чем она хотела. Борис выпучил глаза еще больше. Он был будто испуган.

– Арак.

Он вдруг улыбнулся, и улыбка преобразила его лицо, сделала Бориса моложе, сделала его…

«Человечнее», – решила она.

Она кивнула, взяла с полки бутылку, налила стакан арака – анисовой водки, обожаемой в этих местах, – добавила льда и поставила стакан на столик, потом принесла охлажденную воду: когда разбавляешь арак водой, напиток меняет цвет, прозрачная жидкость мутнеет и делается светлой, как молоко.

– Посиди со мной.

Она постояла, скрестив руки, потом смягчилась. Села – и после секундного замешательства Борис сел тоже.

– Ну? – сказала она.

– Как ты тут?

– Хорошо.

– Ты знаешь, я должен был уехать. Здесь не было работы, не было будущего…

– Здесь была я.

– Да.

Ее глаза успокоились. Она знала, конечно же, о чем он говорит. И винить его не могла. Она поощряла его стремление уехать, а когда он уехал, обоим ничего не оставалось, кроме как двигаться дальше, и она в целом не жалела о жизни, которую вела.

– Это твой бар?

– Он вполне окупается: аренда, счета… Я забочусь о мальчике.

– Он ведь…

Она пожала плечами:

– Из лабораторий. Может даже, один из твоих, как ты и сказал.

– Их было так много, – протянул он. – Мы делали их из любых ничейных геномов, до которых могли добраться. Они все такие, как он?

Мириам покачала головой:

– Я не знаю… за всеми детьми не уследишь. Они же не остаются детьми. Не навсегда. – Она позвала мальчика: – Кранки, ты не мог бы принести мне кофе, пожалуйста?

Мальчик обернулся, серьезно уставился на обоих, в руке еще вращается дымный шар. Кранки подбросил его в воздух, и дым, обретя свои обычные свойства, рассеялся.

– Оу-у-у… – протянул мальчик.

– Кранки, *сейчас же*, – велела Мириам. – Спасибо.

Мальчик пошел к стойке, а Мириам вновь обернулась к Борису:

– Где ты был все это время?

Он пожал плечами.

– На Церере, в Поясе, работал на одну малайскую фирму. – Он улыбнулся. – Никаких младенцев. Просто… чинил людей. Потом три года жил в Тунъюне, подхватил вот это…

Он показал на пульсирующую массу биоматерии за ухом.

Мириам стало любопытно:

– Это… больно?

– Он растет вместе с тобой, – ответил Борис. – Тебе вводят… семечко этой штуковины, оно сидит под кожей, прорастает. Это… может быть неприятно. Не физически, а когда ты начинаешь с ним общаться – и создается сеть.

Мириам было странно даже смотреть на ауг.

– Можно пощупать? – неожиданно для себя спросила она. Борис казался ужасно самоуверенным; он всегда был таким, подумала она, и безжалостный луч гордости и любви прошил ее насквозь, и ей стало страшно.

– Конечно, – сказал Борис. – Вперед.

Она потянулась и робко потрогала ауг кончиком пальца. Удивилась: почти как кожа. Может, чуть теплее. Нажала, ощущение, будто под пальцем фурункул. Убрала руку.

Мальчик, Кранки, принес в турке с длинной ручкой черный кофе с корицей и семенами кардамона. Мириам, налив кофе в фарфоровую чашечку, взяла ее двумя пальцами. Кранки сказал:

– Я его слышу.

– Кого ты слышишь?

– Его, – упрямо повторил мальчик и показал на ауг.

– И что же он говорит? – спросила Мириам, отпив кофе. Она видела: Борис пристально смотрит на мальчика.

– Он смущен.

– В смысле?

– Он чувствует в хозяине что-то странное. Очень сильную эмоцию – или смесь эмоций. Любовь, страсть, сожаление, надежда – все переплетено… он такого никогда не испытывал.

– Кранки!

Мириам подавила нервный смешок, а Борис откинулся на стуле и покраснел.

– Все, на сегодня хватит, – сказала Мириам. – Иди поиграй на улицу.

Мальчик заметно просветлел:

– Правда? Можно?..

– Далеко не убегай. Чтоб я могла тебя видеть.

– Я всегда могу видеть *тебя*, – сказал мальчик и выбежал, не оглядываясь. Она уловила слабое эхо его движения в цифровом море Разговора, потом Кранки исчез в уличном шуме.

Мириам вздохнула:

– Дети.

– Все в порядке. – Борис улыбнулся, снова молодея, напоминая ей о прежних днях, прежнем времени. – Я часто думал о тебе.

– Борис, зачем ты прилетел?

Он опять пожал плечами.

– После Тунъюня я нашел работу в Галилейских Республиках. На Каллисто. Только они там, во Внешней системе, странные. Юпитер висит в небесах, и… у них странные технологии, и я не понимаю их религий. Слишком близко к Брошенным и Миру Дракона… слишком далеко от Солнца.

– Ты поэтому вернулся? – она ошеломленно хихикнула. – Соскучился по солнышку?

– Я тосковал по дому. Нашел работу в Лунопорте, это было изумительно – вернуться настолько близко, видеть восход Земли в небе… Во Внутренней системе я был как дома. Наконец-то взял отпуск – и вот я здесь. – Борис раскинул руки. Мириам ощутила невысказанную, тайную грусть, но подглядывать она не любила. А Борис продолжил: – Я тосковал по тому дождю, что идет из облаков.

– Твой отец жив, – сказала Мириам. – Я иногда его вижу.

Борис улыбался, но паутинки в уголках глаз – прежде морщин у него не было, подумала Мириам, внезапно ощутив жалость, – темнели старой болью.

– Да, он отошел от дел.

Она вспомнила, как отец Бориса, полукитаец-полурусский, великан в экзоскелете, вместе с другими строителями бригады стальным пауком карабкается по недостроенным стенам космопорта. В такие моменты в нем было что-то величественное: все они казались там, на верхотуре, насекомыми, сверкал на солнце металл, их клешни кромсали камень, возводя стены, которые, казалось, держат мир.

Теперь она иногда видела его в кафе: он играл в нарды, пил горький кофе из бесконечных чашек хрупкого фарфора, снова и снова бросал неизменно переменчивые кости, все это – в тени

здания, которое помогал строить и которое в итоге сделало его ненужным.

– Ты его разыщешь?

Борис покачал головой.

– Может быть. Да. Позже… – Он отпил из стакана, скривился, расплылся в ухмылке. – Арак. Я забыл этот вкус.

Мириам тоже улыбнулась. Они улыбались без причины и сожаления, и пока этого хватало.

В шалмане было тихо, осьминоид разлегся в своем ведре, прикрыв выпуклые глаза, еле слышно переговаривались, развалившись на стульях, грузчики. Исобель сидела неподвижно, все еще затерявшись в виртуалье. Вдруг рядом возник Кранки. Мириам не видела, как он вошел, но у него, как и у всех детей Центральной, был талант появляться и исчезать. Мальчик увидел их улыбки – и стал улыбаться тоже.

Мириам взяла его за руку. Теплая.

– На улице не поиграешь, – пожаловался мальчик. Над его головой светился нимб: сквозь круглые капли воды в коротких колючих волосах прорывались радуги. – Снова дождь. – Он глядел на них с подозрением. – Вы чего улыбаетесь?

Мириам взглянула на мужчину, на Бориса, на чужака: когда-то он был тем, кого та, кем когда-то была она, любила.

– Наверное, просто дождь, – сказала она.

Два: Под навесами

Исобель смотрела, как они беседуют. Мама Джонс и странный высокий незнакомец, смутно кого-то напоминавший, будто дальний родственник, которого она видела издали и один раз, но разум Исобель был не здесь.

Увижу ли я его снова? Сердце барабанит быстрый чуждый ритм. Для Исобель это в новинку, ее словно раздирают заживо. В другой ее жизни все проще; в виртуалье она без труда перекраивает себя. Она видит: Мама Джонс смотрит на мужчину, так странно, можно подумать…

Но это же смешно. Можно подумать, у них любовь.

Любовь. От любви все так запутывается!

Исобель собрала вещи и ушла из шалмана. Увидит ли она его снова? Придет ли он? Проходя сквозь штору из бусин, она миновала Кранки и потрепала его по голове. Он серьезно смотрел на нее синими глазищами. Она шагнула на улицу, и впереди выросла Центральная, неимоверная и привычная; вокруг станции блестками на платье собирался дождь.

«Безумие», – решила она. И все-таки ее щеки пылали, и ей как бы нездоровилось, и голова шла кругом от предвосхищения.

Придет ли он?

– Встретимся завтра? – спросила Исобель Чоу.

Роботник Мотл стрельнул глазами направо и налево – слишком быстро. Исобель отступила на шаг.

– Завтра вечером. Под навесами.

Они перешептывались. Она набиралась храбрости. Подошла к нему. Положила руку ему на грудь. Его сердце стрекотало, она чувствовала это через металл. От Мотла пахло машинным маслом и потом.

– Иди, – сказал он. – Ты должна…

Слова умерли непроизнесенными. Его сердце трепыхалось в ее руке, будто цыпленок, испуганный и беспомощный. Вдруг она осознала свою власть. Ее это возбудило. Обладать властью над кем-то еще, вот так.

Его палец прокладывал путь по ее щеке. Горячий, металлический. Она вздрогнула. Вдруг кто увидит?

– Мне пора, – сказал он.

Его рука ее оставила. Он отстранился, и ее будто ударило.

– Завтра, – шепнула она. Он сказал:

– Под навесами, – и удалился быстрыми шагами из тени склада, в направлении моря.

Она посмотрела ему вслед и тоже выскользнула в ночь.

Ранним утром одинокая часовня св. Коэна Иных на лужайке на углу улицы Левински стоит оставленная, и никто не тревожит ее покой. Ползают по дорогам уборщики – всасывают пыль, разбрызгивают воду, скребут поверхности; низкий гул благодарности наполняет воздух, пока машины упиваются величайшей из задач, на краткий миг сдерживая энтропию.

У часовни преклонила колени одинокая фигура. Мириам Джонс, Мама Джонс из шалмана «У Мамы Джонс», с зажженной свечой подносит святому Коэну сломанную микросхему из древнего пульта ДУ для телевизора, бесполезную и устаревшую.

– Храни нас от Порчи, и от Червя, и от внимания Иных, – шептала Мама Джонс, – и дай нам смелости идти в этом мире собственным окольным путем, о святой Коэн.

Часовня хранила молчание. Впрочем, Мама Джонс и не рассчитывала на ответ.

Она неспешно выпрямилась. Колени уже не те, что прежде. Она не удосужилась поменять коленные чашечки. Она не удосужилась поменять большую часть исходников. Гордиться тут нечем, но и стыдиться нечего. Мириам стоит, вбирая утренний воздух, радостный гул дорожно-уборочных машин, воображаемый свист высотной авиации, суборбиталей, сходящих с орбиты и планирующих, как парящие на ветру пауки, чтобы приземлиться на крыше Центральной.

Вчера был странный день, подумала она. Борис сказал: отпуск. Но она знала: что-то осталось невысказанным, есть некие обязательства, связи, есть *обстоятельства*.

Только думать обо всем этом она не хотела. Не сейчас.

Прохладное, свежее утро. Летний зной еще не навалился на землю, не задушил самый воздух. Мириам пошла прочь от часовни, ступила на лужайку: как же приятно ощутить траву под ногами! Она помнила траву своей молодости, когда другие такие же, как она, беженцы из Судана и Сомали пришли в эту чужую землю, пересекли пустыни и границы, ища подобия мира, и обнаружили, что здесь, в еврейском анклаве, их не хотят, что они в изоляции. Она помнила, как отец каждое утро вставал, шел на лужайку и садился рядом с другими в тихом парализующем отчаянии. Они ждали. Ждали человека на пикапе, который приедет и предложит им стать чернорабочими, ждали автобуса агентства ООН – или, подчиняясь судьбе, спецподразделения «Оз» полиции Израиля, которое явится проверять документы, чтобы их арестовать и депортировать…

«Оз» на иврите – мощь. Но истинная мощь, думала Мириам, не в том, чтобы запугивать беспомощных людей, которым некуда больше идти. Она в том, чтобы выжить, как выжили ее родители,

как выжила она – изучая иврит, работая, существуя скромно и тихо, пока прошлое становилось настоящим, а настоящее будущим, пока однажды здесь, на Центральной, только она и осталась – остальные разлетелись кто куда.

Ныне на лужайке спокойно, только одинокий роботник сидит, прислонясь спиной к дереву, – то ли дремлет, то ли бодрствует. Дорожное движение оживляется, уборщики, разочарованно вереща, едут дальше. Маленькие автомобили, расправив крылья солнечных батарей, мчатся по шоссе. Солнечные батареи повсюду, на крышах и боках зданий: в самом солнечном месте бесплатную энергию старается умыкнуть любой. Тель-Авив. Мириам знает, что за городом трудятся солнечные фермы: на обширных равнинах батареи простираются до горизонта, жадно глотая лучи солнца и превращая их в энергию, которую скармливают потом центральным зарядным станциям по всему городу. Мириам нравится батарейный пейзаж, к тому же это последний писк моды: в одежду самой Мамы Джонс вшиты крошечные солнечные панели, а ее широкополая шляпа ловит солнце по максимуму – и это стильно.

Покинув лужайку, она перешла дорогу. Мимо, по направлению к Центральной, проехала Исобель Чоу на велосипеде. Мама Джонс махнула рукой, но Исобель ее не заметила, и Мириам пожала плечами. Время открывать шалман, готовить кальяны, мешать напитки. Скоро придут посетители. На Центральной они не переводятся.

Исобель катила по улице Саламе, и ее велосипед был как бабочка: крылья врозь, сосут солнце, бормочут ей что-то счастливым сонным голосом, нод принимает трансляцию сотен тысяч других голосов, каналов, музыки, языков, широкополосный нераспознаваемый *токток* Иных, прогнозы погоды, исповеди, запаздывавшие неземные радиостанции Лунопорта, и Тунъюня, и Пояса; Исобель наугад включалась и выключалась, летя сквозь глубокий и нескончаемый поток, что и был Разговором.

Ее омывали звуки и виды: фотографии дальнего космоса от одинокого паука, который врезался в ледяную глыбу в облаке Оорта и вгрызся в нее, чтобы конвертировать астероид в копии себя; повторный показ серии «Цепей сборки»; конголезская станция, передающая нуэво кваса-кваса; с севера Тель-Авива – ток-шоу «Как изучать Тору», на котором все успели переругаться; с обочины – внезапный и тревожный частый пинг: *«Помогите, пожалуйста. Сделайте пожертвование. Работаю за запчасти»*.

Она притормозила. На обочине, на арабской стороне, стоял роботник. В скверном состоянии – огромные заплаты ржавчины,

глаза нет, нога болтается как неживая; другой глаз, все еще человеческий, взирает на Исобель то ли с немой мольбой, то ли безразлично. Роботник вещает в широком диапазоне, механически, беспомощно; рядом на одеяле валяются кучка запчастей и почти пустая бензиновая канистра – солнечная энергия роботникам особо не помогает.

Нет, она не могла остановиться, не должна была. Ее переполняли дурные предчувствия. Она поехала дальше, постоянно оглядываясь: прохожие игнорируют роботника, будто его и нет, солнце восходит быстро, день вновь обещает быть жарким. Исобель разыскала нод несчастного, сделала маленькое пожертвование, скорее облегчив жизнь себе, чем ему. Роботники, забытые солдаты забытых еврейских войн: механизированные, отправленные на фронт, а потом, когда войны кончились, брошенные как есть, оставленные перебиваться на улице, вымаливающие запчасти, чтобы пожить еще немного…

Исобель знала, что многие из них эмигрировали во внеземелье, улетели в марсианский Тунъюнь. Другие обосновались в Иерусалиме и жили на Русском подворье, которое стало их собственностью после долгой оккупации. Нищеброды. На таких мало кто обращает внимание.

И они очень стары. Некоторые сражались на войнах, не имевших теперь даже имен.

Она ехала прочь по Саламе, направляясь к станции. Сегодня вечером, думала она; и ее сердце солнечным парусом трепетало в предвкушении, в ожидании скорой свободы.

Плывя по течению дня, солнце взлетает за космопортом и чертит дугу над ним, прежде чем приземлиться наконец в море.

Исобель работает в громаде Центральной и обычно не видит солнца вовсе.

Зал ожидания Третьего Уровня предлагает ералаш закусочных, дронозон, игромирных сим-ульев и эмпориев «Луи У», накамалей и курилен, заведений для поклонников тру-плоти и виртуальной секс-индустрии, а также свой базар верований.

Исобель слышала, что крупнейший базар верований расположен в Тунъюнь-Сити на Марсе. Тот, который работает на Третьем Уровне, *здесь*, – средней руки: миссия церкви Робота, Горийский храм, Элронитский Центр Ускорения Рода Человеческого, храм Бахаи, мечеть, синагога, католическая церковь, армянская церковь, алтарь Огко и буддийский храм тхеравадинов.

По пути на работу Исобель зашла в церковь. Ее воспитали в католической вере – семья ее матери, китайские иммигранты с

Филиппин, обратились в эту религию в иную эпоху, иное время. Но Исобель не находила утешения в безмолвном спокойствии просторной церкви, запахе свечей, полумраке, раскрашенном стекле и горестном взгляде распятого Иисуса.

Церковь это запрещает, подумала она, вдруг устрашившись. Покой церкви угнетал: воздух слишком застойный. Всякий предмет в помещении будто смотрел на нее, *знал* о ней. Она развернулась на каблуках.

Вышла и, не глядя, почти врезалась в брата Патчедела.

Р. Патчедел, сострадательно:

– Дочь, тебя *колотит*.

Она знает Р. Патчедела, хоть и не близко: этот робот был неотъемлемой частью Центральной станции (и космопорта, и окрестностей) всю ее жизнь и подрабатывал *моэлем* у горожан-евреев, когда у тех рождался мальчик.

– Я в порядке, правда, – сказала Исобель. Робот глядел на нее, его лицо ничего не выражало.

«Робот» на иврите – слово мужского рода. И по большей части роботы проектировались в стародавние времена без гениталий и грудей, смутно мужественного вида. Они – своего рода ошибка. Никто не производит роботов уже очень давно. Они – недостающее звено, неловкий шажок эволюции от людей к Иным.

– Не желаешь чашечку чая? – спросил робот. – Возможно, пирожное? Сахар, мне говорили, помогает людям при стрессе. – Непонятным образом Р. Патчеделу удавалось изображать смущение.

– Я в порядке, правда, – повторила Исобель. И вдруг, импульсивно: – Вы верите в то, что… роботы могут… я имею в виду…

Она запнулась. Робот обратил к ней старое невыразительное лицо. По левой щеке, от глаза к краешку рта, бежал ржавый шрам.

– Ты можешь спросить меня о чем угодно, – сказал робот мягко. Интересно, голос какого мертвеца был использован, чтобы синтезировать звуки его голоса?

– Роботы способны любить?

Рот робота изогнулся. Возможно, это была улыбка.

– Мы только и способны, что любить.

– Как это может быть? Как вы можете… чувствовать?! – почти закричала она. Но кто обратит внимания на крик на Третьем Уровне?

– Мы антропоморфизированы, – ответил Р. Патчедел тихо. – Созданы по подобию человека, наделены телесностью, чувствами. Таково бремя железного дровосека. – В голосе слышится печаль. –

Ты знаешь это стихотворение?

– Нет, – сказала Исобель. – А что насчет… насчет Иных?

Робот покачал головой:

– Кто может сказать? Для нас непредставимо существование чисто цифровой сущности, не знающей телесности. В то же время мы ищем избавления от нашего телесного существования, путь в рай, хотя и знаем, что рая нет, что его нужно построить, что мир следует отремонтировать и пропатчить… Но о чем ты в действительности меня спрашиваешь, Исобель, дочь Ирины?

– Не знаю, – прошептала она и поняла: у нее мокрое лицо. – Церковь… – Она чуть повернула голову, показывая на католическую церковь за спиной. Робот кивнул, будто и правда понял.

– В юности чувства сильны, – сказал он мягко. – Не бойся, Исобель. Позволь себе любить.

– Не знаю, – пробормотала Исобель. – Не знаю.

– Подожди…

Но она уже отвернулась от брата Патчедела. Смаргивая слезы – она не понимала, откуда они взялись, – она шла прочь; она опаздывала на работу.

Сегодня вечером, думала она. Вечером под навесами. Она вытерла слезы.

Сумерки окунают Центральную в долгожданную прохладу. В шалмане «У Мамы Джонс» зажглись свечи, в «Безымянном накамале» через улицу готовят вечернюю каву; сильный землистый запах – корни кавы чистят и крошат, клетчатку шинкуют, смешивают с водой и несколько раз отжимают, чтобы вышел весь экстракт, все кавалактоны, – напаивает мощеную улицу, самое сердце района.

На лужайке роботники сгрудились вокруг костра, разведенного в перевернутой бочке. Пламя отражается на лицах, безыскусно сочетающих металлическое и человеческое: живучий лом забытых войн. Роботники говорят друг с другом на чудном языке, боевом идише, впечатанном в них благонамеренным армейским разработчиком, – кроме них этим тихим и тайным языком не владеет никто.

На Центральной пассажиры едят, пьют, играют, работают и ждут: лунные торговцы, марсианские китайцы, прилетевшие на Землю в турпоездку, евреи астероидных кибуцей Пояса – все это людское разношерстье перестало довольствоваться Землей, но по-прежнему считало ее за центр вселенной, вокруг которого вертятся все планеты, луны и поселения; аристотелевская модель мира побила временно одолевшего ее Коперника. На Третьем

Уровне Исобель загрузилась в рабочий сим, существуя одновременно, как кот Шрёдингера, в физическом пространстве и равно реальном виртуалье вселенной Гильдий Ашкелона, где…

Она *и правда* Исобель Чоу, капитан «Девятихвостой кошки» – построенного тысячи лет назад космолета, проходившего апгрейд и редизайн каждый Вселенский Цикл; как капитан и командующий спасательной операцией она, Исобель, охотится за драгоценными артефактами геймерского мира, чтобы продать их на Бирже…

Она кружит по орбите Черной Бетти – в этой сингулярности вселенной Гильдий Ашкелона вымершие инопланетяне оставили загадочные руины, дрейфующие в космосе на обломках скал, лишенных атмосферы астероидах некогда великой галактической империи…

Успех там означает пищу, воду и аренду *здесь*…

Но что такое «здесь», что такое «там»…

Исобель шрёдила в реале и виртуалье – или в ГиАш и мире, называемом «вселенная-1», – и работала.

На Центральную пала ночь. На улицах вокруг нее загорелись огоньки: летающие сферы празднично мерцают во тьме. Ночью Центральная *оживает*…

Флористы собирают товар на привольно раскинувшемся рынке; мальчик Кранки играет сам с собой, разбросав вокруг стебли и увядающие темные лунные розы, выращенные на гидропонике, и все стараются держаться от него подальше, мальчик странный…

Вокруг клокочет астероид-пиджин, Кранки продолжает игру: перед ним взлетают и пляшут стебли, бутоны черных роз раскрываются и закрываются в беззвучном, неискусном танце. Мальчик владеет накаймас, черной магией, он поражен квантовым проклятием. Мимо Кранки течет Разговор, торговцы отпирают и запирают лавки на ночь, рынок меняет лица, ни на миг не утихая, люди спят под стойками и обедают, забегаловки источают аромат: жареная рыба, чили в уксусе, поджаренные соя и чеснок, тмин, куркума и пурпурный молотый сумах, названный так за свой багрянец. Мальчик играет, все мальчики играют. Цветы танцуют – безгласно.

– Ю стап го вэа? *Куда ты идешь?*

– Ми стап го бак хаос. *Я иду домой.*

– Ю но савэ стап смолтаэм, дринг смолсмол биа? *Не хочешь по пиву?*

Смех. Потом…

– Си, ми савэ стап смолтаэм. *Да, я не прочь.*

Играет музыка – на множестве фидов и живая тоже: юная *катой*, бэкпекер из Таиланда, поет под старую акустическую гитару, чуть поодаль осьминоид бьет по разнообразным тамтамам, добавляя дисторшн в реальном времени и в трансляции: неброский голосок, вплетающий себя в сложный и нескончаемый паттерн Разговора.

– Ми лафэм ю!

– Авво, ю дронг!

Смех, «*Я люблю тебя!*» – «*Ты пьян!*» – поцелуй, двое мужчин уходят, взявшись за руки…

– Ван дэй ми го лонг спэс, баэ ми го луклук олбаот лонг ол стар.

– Ю кранки вви!

«*Однажды я полечу в космос и побываю на всех планетах!*» – «*Ты безумец!*»

Смех, и кто-то выпадает из виртуалья, продирая сонные глаза, реадаптируясь, кто-то поворачивает рыбу на гриле, кто-то зевает, кто-то улыбается, начинается драка, встречаются любовники, луна встает на горизонте, тени движущихся пауков мерцают на ее поверхности.

Под навесами. Под навесами. Где всегда сухо и всегда темно, под навесами.

Там, под навесами Центральной, по периметру гигантского сооружения располагается буферная зона, сито, отделяющее космопорт от городских кварталов. На Центральной можно купить что угодно, а то, чего не купишь там, можно найти здесь, под навесами.

Исобель закончила работу, ей нужно выйти обратно во вселенную-1, оставить капитанство, корабль и экипаж, выбраться из сима и встать на ноги; ревет кровь в ушах, стоило коснуться запястья, как Исобель ощущает, что кровь пульсирует и там тоже, а сердце хочет того, чего хочет, напоминая нам, что мы люди, мы хрупки, мы слабы.

Она миновала служебный туннель между этажами и вышла на северо-восточном углу порта, к улице Кибуц-Галуйот и старинной развилке.

Там было тихо и темно: пара магазинчиков, некошерная лавка, торгующая свининой, переплетная мастерская и складские помещения, давным-давно заброшенные, превращенные в звукоизолированные клубы, геноклиники и синт-эмпории. Она ждала в тени порта, обнимая стены, они казались теплыми, а станция всегда казалась ей живой, сексуальной, станция была как сердце, как бьющееся сердце. Исобель ждала, ее нод-имплант

сканировал незваных гостей: цифровые подписи, тепло, еще движение – Исобель была девчонкой с Центральной, она могла о себе позаботиться, у нее имелся нож, она хранила бдительность, но теней не боялась.

Она ждала, ждала его прихода.

– Ты ждала.

Она прижалась к нему. Он был теплым, она не понимала, где у него заканчивается металл и начинается органика.

Он сказал: «Ты пришла», – и в его словах было удивление.

– Я должна была. Увидеть тебя снова.

– Мне было страшно. – Он говорил негромко, шепотом. Его рука на ее щеке; она повернула голову, поцеловала его плоть; ржавчина вкуса крови.

– Мы нищие, – сказал он. – Такие как я. Мы сломанные машины.

Она смотрела на него, старого брошенного солдата. Она знала, что некогда он умер, его переделали, разум человека киборгировали в чуждое тело, послали воевать – и умирать, снова и снова. Что теперь он живет на железном ломе, зависит от чужой милости…

Роботник. Древнее слово, означавшее рабочего.

Но изреченное как проклятие.

Она посмотрела ему в глаза. Почти человеческие.

– Я не помню, – сказал он. – Я не помню, кем я был – прежде.

– Но ты же… ты все еще… ты жив! – сказала она, будто вдруг добралась до истины, и засмеялась, пьяная от смеха и счастья, а он подался вперед и стал целовать ее, сначала мягко, потом сильнее, общее влечение слило их воедино, соединило – почти как человека в связке с Иным.

На своем странном, всеми забытом боевом идише он сказал:

– Их либа дих.

Она ответила на астероид-пиджине:

– Ми лафэм ю.

Его палец на ее щеке, горячий, металлический, его запах машинного масла, бензина и человеческого пота. Она притянула его к себе, чуя спиной стену Центральной станции, в сгустке теней, а где-то высоко-высоко, украшенный светом, летел, снижаясь, самолет из дальнего далёка.

Три: Запах апельсиновых рощ

Где-то высоко-высоко, на крыше, очнулся Борис. Кажется, он видел под навесами станции две украдкой расходящиеся фигурки, но мыслями Борис был далеко.

Странно вот так столкнуться с Мириам; она изменилась, но и не изменилась тоже. Наверняка она знает, почему он вернулся, но молчит, оставляя его наедине с тайной печалью.

Солнечные батареи на крыше сложены, как оригами, они еще спят, но уже беспокойно шевелятся, словно предчувствуя неизбежное явление солнца. Обитатели здания, соседи отца Бориса, на протяжении многих лет сажали здесь самые разные растения в горшках из глины, алюминия, дерева, превращая крышу в высотный тропический сад.

Здесь, наверху, тихо и пока что прохладно. Борису нравился аромат поздно зацветшего жасмина, вьющийся по стенам, настойчиво забирающийся все выше, распространяющийся по старым районам, окружавшим Центральную. Борис глубоко вдыхает ночной воздух – и выдыхает медленно, сбивчиво, наблюдая за огнями космопорта, за движущимися звездами, оставляющими в небесах драгоценные инверсионные следы.

Он любил запах этого места, этого города. Запах моря на западе, дикое амбре соли и открытых вод, водорослей и гудрона, масла для загара и людей. Он любил запах холодного очищенного воздуха, сочащегося из окон, и базилика, когда трешь его между пальцами, любил запах шаурмы, поднимающийся с улицы, и пьянящую смесью специй, любил запах исчезнувших апельсиновых рощ далеко за городскими кварталами Тель-Авива и Яффы.

Когда-то тут были сплошь апельсиновые рощи. Борис вглядывался в старинные дома, облупившуюся краску, многоквартирные коробки старомодной советской архитектуры в оцеплении роскошных баухаусных построек начала XX века, зданий, которые строили похожими на корабли: длинные искривленные грациозные балконы, маленькие круглые окна, плоские крыши-палубы вроде той, на которой он сейчас стоял…

Между старыми зданиями затесались более новые постройки, кооп-дома в марсианском стиле, внутри – спускные желобы для лифтов и комнатки, разделенные множеством перегородок, многие даже без окон…

Постиранное белье висит, как и сотни лет назад, на сушилках и подоконниках: выцветшие кофты и шорты слегка развеваются на ветру. Внизу качаются, будто на волнах, уличные фонарики,

уже гаснущие, и Борис осознает, что ночь улетучивается; он видит розово-красный отблеск над лезвием горизонта и понимает, что восходит солнце.

Всю ночь он сидел у постели отца. Влад Чонг, сын Вэйвэя Чжуна (Чжун Вэйвэя, если на китайский манер) и Юлии Чонг, урожденной Рабинович. По семейной традиции Бориса тоже нарекли русским именем. По другой семейной традиции ему дали и второе, еврейское имя. Подумав об этом, он криво улыбнулся. Борис Ахарон Чонг: наследие и груз трех сошедшихся древних культур тяжело давили на его худые, уже не юные плечи.

Ночь выдалась тяжелой.

Когда-то тут были сплошь апельсиновые рощи… Он сделал глубокий вдох: запах старого асфальта и выхлопных газов сгинул, как апельсины, но все еще жил внутри – аромат памяти.

Борис пробовал оставить ее в прошлом. Память семьи, то, что иногда называли проклятием семьи Чонг; то, что звали Вэйвэевым Безумием.

Он обо всем этом помнил. Естественно. В день столь далекий, что самого Бориса Ахарона Чонга не было еще и в проекте, когда его Я-контур даже не сформировался…

Дело было в Яффе, в Старом городе на вершине холма, над бухтой. В доме Иных.

Чжун Вэйвэй гнал велосипед вверх по склону, было жарко, и он весь промок. Вэйвэй не доверял извилистым улочкам и самого Старого города, и Аджами, района, который наконец-то возродил свои достопримечательности во всей красе. Вэйвэй понимал конфликты этих мест слишком хорошо. Арабы и евреи хотят одну и ту же землю – и за нее борются. Вэйвэй понимал, что такое земля и почему люди готовы за нее умереть.

Но знал он и то, что концепция земли изменилась. Что земля теперь не столько материя, сколько сознание. Не так давно Вэйвэй вложился в целую планетную систему в игромире Гильдий Ашкелона. Вскоре у Вэйвэя появятся дети – Юлия уже на третьем триместре, – потом пойдут внуки, потом правнуки, и так далее, поколение за поколением, и все они будут помнить Вэйвэя, своего предка. Они будут благодарны ему за то, что он сделал, за недвижимость и реальную, и виртуальную, и еще за то, что он надеялся завершить сегодня.

Он, Чжун Вэйвэй, породит династию – здесь, в разделенной стране. Потому что он понял самое главное: он один видел значимость этого чужеродного анклава, Центральной станции. Евреи на севере (его дети тоже будут евреями – странная и беспокойная мысль), арабы на юге, они вернулись, заявили права на

Аджами и Менашию, они строят Новую Яффу, город, возносящийся в небо сталью, камнем и стеклом. Разделенные города, вроде Акко и Хайфы, на севере, – и новые города, проросшие в пустыне, в песках Негева и Аравы.

Араб или еврей – они нуждаются в иммигрантах, в иностранной рабочей силе с Филиппин, из Таиланда, Китая, Сомали, Нигерии. И им нужен буфер, нейтральная полоса, которой и стала Центральная станция, старый Южный Тель-Авив, место бедное, живое, но прежде всего словно бы не существующее.

Пограничный город.

Здесь и будет жить Вэйвэй. Он, и его дети, и дети его детей. Евреи и арабы, по крайней мере, знают, что такое семья. В этом они походят на китайцев и отличаются от англо с их нуклеарными семьями и натянутыми отношениями, живущих порознь, поодиночке… Такого, поклялся Вэйвэй, с его детьми не случится.

На вершине холма он остановился и вытер пот со лба матерчатым носовым платком, который носил для этих целей. Мимо проезжали машины, повсюду шумело строительство. Вэйвэй сам работал на одном из возводимых здесь зданий в диаспорной бригаде: крохотные вьетнамцы, высоченные нигерийцы и бледные крепыши-трансильванцы общались, используя жесты, астероид-пиджин (хотя он в те времена не успел широко распространиться) и автоматические переводчики в нодах. Вэйвэй трудился в экзоскелетном костюме: карабкался, цепляясь паучьими захватами, на башенные блоки, рассматривал город далеко внизу, глядел на море и далекие корабли…

Но сегодня у него выходной. Он копил деньги – часть каждый месяц отсылал родне в Чэнду, часть откладывал на семью, которая скоро разрастется. Остальное он отдаст сегодня – за услугу, о которой попросит у Иных.

Аккуратно сложив и убрав платок, Вэйвэй пошел, толкая велосипед, в лабиринт закоулков, который и был Старым городом Яффы. Развалины старинного египетского форта, его ворота, обновленные столетие назад; в тени стен так и висит на цепях апельсиновое дерево, посаженное в гигантской каменной корзине в форме яйца, – арт-инсталляция. Вэйвэй не останавливался, пока не пришел наконец туда, где жил Оракул.

Борис глядит на восход солнца. Он выжат как лимон. Он провел рядом с отцом всю ночь. Его отца, Влада, постоянно мучит бессонница. Он сидит часы напролет в кресле – потертом, дырявом, с большими трудами и гордостью притащенном однажды, много лет назад (Борис помнит это предельно ясно), с

блошиного рынка Яффы. Руки Влада двигаются, переставляя в воздухе невидимые предметы. Он не дает Борису доступа к визуал-каналу. Он почти перестал общаться с внешним миром. Борис подозревает, что предметы – это воспоминания, что Влад пытается хоть как-то вернуть их на место.

Но точно он не знает.

Как и Вэйвэй, Влад был рабочим на стройке. Одним из тех, кто возвел Центральную станцию, забирался на самый верх гигантской незаконченной структуры, космопорта, ныне ставшего царством в себе, мини-страной магазинов, на которую уже не могли предъявить полное право ни Яффа, ни Тель-Авив.

Но все это было давно. Теперь люди живут дольше, только мозги у них стареют с прежней скоростью, и мозг Влада – старше его тела. Борис – на крыше – идет к двери в углу. Дверь затенена миниатюрной пальмой; между тем солнечные батареи принимаются раскрываться, расправляют изящные крылья, чтобы поймать побольше восходящего солнца и дать растениям тень и убежище.

Давным-давно квартирное товарищество поставило здесь общий стол и самовар – и каждую неделю одной из квартир вменяется в обязанность приносить чай, кофе и сахар. Борис аккуратно срывает пару листочков с мяты в горшке и кипятит чай. Шум кипятка, льющегося в кружку, успокаивает; оглушающе свежо пахнет мятой, и Борис наконец просыпается. Он ждет, пока мята заварится, берет кружку с собой на край крыши. Смотрит вниз: Центральная станция – на деле она никогда не спит – громко пробуждается.

Отхлебнув чаю, он думает об Оракуле.

Некогда Оракула звали Коэн, и, по слухам, она приходилась родственницей святому Коэну Иных, хотя доказать это никто и не мог. Сегодня об этом почти все забыли. Три поколения жила она в Старом городе, в темном, тихом каменном доме – вместе со своим Иным.

Имя Иного и его личный тэг были неизвестны, что с Иными бывало нередко.

Была Оракул потомком святого Коэна или нет, перед каменным домом стояла его часовенка. Скромная, на алтаре – золотистые безделушки, старые, сломанные микросхемы и тому подобное, и еще свечи, горевшие в любое время дня и ночи. Вэйвэй, подойдя к двери, на миг замер перед часовней, зажег свечу, положил приношение – давным-давно вышедший из употребления компьютерный чип, приобретенный за большие деньги на блошином рынке под холмом.

Помоги мне сегодня достичь цели, мысленно попросил Вэйвэй, помоги сплотить мою семью и позволь мне расшарить для них мое сознание, когда я умру.

В Старом городе не было ветра, но древние каменные стены источали отрадную прохладу. Вэйвэй, только недавно установивший нод, послал пинг двери, и через секунду та открылась. Он шагнул внутрь.

Борис помнит неподвижность и в то же время – парадоксально – *смещение*, внезапную необъяснимую перемену перспективы. Воспоминания деда лучатся в его сознании. Вэйвэй, как бы он ни храбрился, был первопроходцем в незнакомой стране, он продвигался на ощупь, на инстинкте. Он не вырос с нодом; ему было сложно следить за Разговором, бесконечной болтовней людских и машинных фидов, без которых современный человек глух и нем; и все-таки Вэйвэй был из тех, кто ощущает будущее инстинктивно, так, как куколка ощущает взросление. Он знал, что его дети будут другими, а их дети будут отличаться уже и от них, но знал он и то, что нет будущего без прошлого…

– Чжун Вэйвэй, – сказала Оракул. Вэйвэй поклонился.

Оракул была на удивление молода, или просто очень молодо выглядела. Короткие черные волосы, непримечательное лицо, бледная кожа – и золотой протез вместо большого пальца. Вэйвэй тревожно содрогнулся – это был ее Иной.

– Я ищу милости, – сказал Вэйвэй. Поколебавшись, он протянул ей маленькую коробку. – Шоколадные конфеты.

И тут – или у него разыгралось воображение? – Оракул улыбнулась.

В комнате было тихо. Он не сразу осознал, что Разговор прекратился. Оракул взяла коробку и открыла ее, тщательно выбрала конфету, положила в рот. Задумчиво пожевала, в знак одобрения склонила голову. Вэйвэй поклонился вновь.

– Прошу, – сказала Оракул. – Садись.

Вэйвэй сел. Кресло с подголовником, старое и потертое – с блошиного рынка, решил он, и ему сделалось не по себе: неужели Оракул покупает что-то в лавках, почти как если бы была человеком? Но, конечно, она и была человеком. Почему-то от этой мысли легче не стало.

Затем глаза Оракула слегка изменили цвет, и ее голос, когда она заговорила, был другим, грубее, чуть ниже, чем раньше, и Вэйвэй опять сглотнул.

– О чем ты желаешь просить нас, Чжун Вэйвэй?

Это говорил уже ее Иной. Тот самый Иной, напарником

ездящий на человеческом теле, Соединенный с Оракулом квантовыми процессорами внутри золотого пальца… Собравшись с духом, Вэйвэй сказал:

– Я ищу мост.

Оракул кивнула, повелевая продолжать.

– Мост между прошлым и будущим, – продолжил Вэйвэй. – Непрерывность.

– Бессмертие, – повторил Иной и вздохнул. Рука поднялась, почесала подбородок, золотой палец скреб бледную кожу женщины. – Все, чего хотят люди, – бессмертие.

Вэйвэй покачал головой, хотя отрицать сказанное не мог. Его страшила идея смерти и умирания. Он знал: ему недостает веры. Многие во что-то верили, вера давала человечеству возможность идти вперед. Перевоплощение, или посмертие, или мифическая Загрузка, иначе называемая Трансляцией, – все едино, все требует веры, которой он не обладал, как бы его это ни тяготило. Он знал: когда он умрет, все кончится. Я-контур с личным тэгом Чжуна Вэйвэя прекратит существовать, просто и бессуетно, а вселенная продолжится, как продолжалась всегда. Ужасно размышлять о таком – о собственной незначительности. Ибо Я-контуры людей есть фокальная точка вселенной, объект, вокруг которого вертится все остальное. Реальность субъективна. И все-таки это иллюзия, так же, как «я», личность человека, композитная машина, составленная из миллиардов нейронов, хрупких сетей, полунезависимо функционирующих в серой материи мозга. Машины усиливают мозг, но не могут сохранить его – не навсегда. Поэтому: да, подумал Вэйвэй. То, чего он ищет, он ищет тщетно, но и практично. Он сделал глубокий вдох и сказал:

– Я хочу, чтобы мои дети меня помнили.

Борис смотрит на Центральную. За космопортом уже поднимается солнце, внизу выдвигаются на позиции роботники, разворачивая одеяла и кустарные рукописные плакаты с просьбами пожертвовать запчасти, бензин или водку.

Борис видит брата Р. Патчедела из церкви Робота, совершающего обход: церковь старается заботиться о роботниках так же, как заботится о своей скромной людской пастве. Роботы – удивительное недостающее звено между человеком и Иным, не приспособленное к обеим мирам: цифровые создания, ограниченные телесностью, физической материей; многие из них отказались от Загрузки ради собственной причудливой веры… Борис помнил брата Патчедела с детства – робот делал обрезание и самому Борису, и его отцу. Вопрос «кто такие евреи?» задавался применительно не только к семейству Чонг, но и к роботам, и

ответ на него был дан давным-давно. По материнской линии Борису передались фрагменты памяти о том, что было до Вэйвэя: протесты в Иерусалиме, лаборатории Мэтта Коэна и первое, примитивное Нерестилище, в котором цифровые развивались безжалостными эволюционными циклами…

…Плакаты, которыми потрясает на улице Короля Георга массовая демонстрация: «Рабству – нет!», «Уничтожим концлагерь!» и так далее: разъяренная толпа, пришедшая сюда, чтобы протестовать против кажущегося порабощения первых хрупких Иных в их замкнутых сетях; лабы Мэтта Коэна в осаде; его разношерстный коллектив ученых изгонялся то из одной страны, то из другой – и осел, в конце концов, в Иерусалиме…

Святой Коэн Иных – так зовут его теперь. Борис подносит кружку к губам и обнаруживает, что она пуста. Он ставит кружку на столик, трет глаза. Надо выспаться. Он уже немолод, двое или трое суток без сна, на стимуляторах и беспокойной энергии юности – не для него. Дни, когда они с Мириам прятались на этой крыше, сжимали друг друга в объятиях, обещали то, чего, как они знали, не смогут сделать…

Теперь он думает о ней, пытается разглядеть ее внизу, увидеть, как она шагает по мостовой к шалману. Думать о ней трудно, трудно *томиться*, как… как *мальчишка*. Он вернулся не из-за нее, но где-то на задворках сознания наверняка…

На шее безмятежно дышит ауг. Борис обрел его в Тунъюнь-Сити на задах авеню Арафат в подпольной безымянной клинике; вживлял ауга ее владелец, марсианский китаец третьего поколения мистер Вонг.

Говорят, аугов создали из окаменевших останков марсианских микробактериальных форм жизни, но правда это или нет – неизвестно. Обрести ауга странно. Паразит питается через Бориса, мягко пульсирует на шее, он – часть хозяина: еще одно внешнее устройство, кормящее его чужеродными мыслями, чужеродными чувствами, вбирающее взамен человеческое мировидение и вкрадчиво его *смещающее* – как если бы твои идеи проходили сквозь фильтр калейдоскопа.

Борис кладет руку на ауг и ощущает теплую, на удивление шершавую поверхность. Ауг, ровно дыша, шевелится под пальцами. Иногда он синтезирует странные вещества, которые действуют на Бориса как наркотики и застают его врасплох. Иногда он меняет визуальное восприятие, а то и сообщается с нодом, цифросетевым компонентом мозга, имплантированным сразу после рождения; жизнь без нода хуже слепоты и глухоты – такие люди отсоединены от Разговора.

Борис знает: тогда он хотел сбежать. Он покинул родной дом,

отказался от памяти Вэйвэя, ну или пытался – на время. Отправился на Центральную, доехал на лифтах до самого верха – и не остановился. Улетел с Земли, за ее орбиту, добрался до Марса и Пояса, до Верхних Верхов, но воспоминания преследовали его – мост Вэйвэя, навсегда соединивший будущее с прошлым…

– Я хочу, чтоб моя память жила, когда меня не будет.

– Этого хотят все люди, – сказал Иной.

– Я хочу… – Вэйвэй собрался с духом и продолжил: – Я хочу, чтобы моя семья помнила… Училась на прошлом, планировала будущее. Я хочу, чтобы мои воспоминания перешли к детям, а их воспоминания, в свой черед, перешли к их детям. Я хочу, чтобы мои внуки, и их внуки, и все мои потомки в будущем помнили этот момент.

– Так и будет, – сказал Иной.

Так и было, думает Борис. Яркое воспоминание, будто застывшее в капле росы, совершенное и неизменяемое. Вэйвэй получил то, чего просил, и его память теперь – память Бориса, а также Влада, бабушки Юлии, матери Бориса и остальных: двоюродные сестры и братья, племянницы и дядья, племянники и тети – все они делили центральный резервуар памяти семьи Чонг, каждый мог в любой миг погрузиться в глубины этого водоема воспоминаний, этого океана прошлого.

«Вэйвэево Безумие!» – так говорили в семье. Порой оно проявлялось странным образом: даже далеко от Земли, когда Борис работал в родильных клиниках Цереры или прогуливался по авеню марсианского Тунъюнь-Сити, в его голове вдруг формировалось воспоминание – новое воспоминание: как двоюродная сестра Оксана давала жизнь первенцу, крошке Яну, – переплетение боли и радости с беспорядочными мыслями (покормлен ли пес?), голос акушерки: «Тужься! Тужься!» – запах пота, пиканье мониторов, еле слышные разговоры за дверью, неописуемое чувство, когда из тебя медленно выныривает младенец…

Борис понимает, что держит кружку, и снова ставит ее на столик. Внизу Центральная уже проснулась, торговцы выложили на лотки свежие продукты, голосит на тысячи ладов рынок, пахнет дымом и курятиной, неспешно жарящейся на гриле, кричат дети по пути в школу…

Борис думает о Мириам: как они любили друг друга, когда мир был молод, любили на иврите, языке их детства, как потом разлучились, и виной тому был не потоп войны, но обычная жизнь и то, что она с нами всеми делает. Борис трудился какое-то

время в родильных клиниках Центральной, но там было слишком много воспоминаний, почти призраков, и он взбунтовался, отправился в космопорт, а оттуда на орбиту, в место, называемое Вратами, а оттуда – для начала – в Лунопорт.

Он был молод и хотел приключений. Он пытался убежать. Лунопорт, Церера, Тунъюнь… Но память гналась за ним по пятам, и хуже всего были воспоминания отца. Они следовали за ним сквозь стрекот Разговора: сжатая память, со скоростью света скачущая по космосу от одного Зеркала к другому, так что семья помнила Бориса здесь, на Земле, а он помнил семью там, и в итоге бремя сделалось таким, что он вернулся.

Это случилось во время очередного прилета в Лунопорт. Борис чистил зубы и смотрел на свое лицо – не юное, не старое, более-менее обычное, глаза китайские, скулы славянские, волосы стали тоньше… и тут память напала на него, заполнила его, и он выронил зубную щетку.

Память не отца, но племянника, Яна, и недавняя: Влад сидит в кресле в своей квартире, постаревший, усохший, и что-то, что причиняло Яну смутные страдания, сквозь пустоту больно ударило Бориса в грудь… Затуманенный взгляд отца. Влад сидел, не говоря ни слова, он не узнавал ни племянника, ни остальных, тех, кто пришел его проведать.

Он сидел, и его руки не переставали двигаться, переставляя невидимые предметы.

– Борис!

– Ян.

Племянник робко улыбался.

– Я думал, ты – легенда.

Запаздывание, полет с Земли на Луну и обратно, нод к ноду.

– Ты совсем взрослый.

– Ну да…

Ян работал на Центральной. Лаба на Пятом Уровне, производство вирусной рекламы, микроскопических агентов, которые по воздуху передаются от человека к человеку и в замкнутой системе кондиционирования вроде Центральной процветают; каждый вирусный агент закодирован на передачу персональных предложений – органика взаимодействует с нодом, убеждая: «Купи! Купи! Купи!» Ян встречался с мальчиком, Юссу, но сейчас у них что-то не клеилось.

– Твой отец…

– Что случилось?

– Мы не понимаем.

Эти слова дались Яну не без боли. Борис ждал; по маршруту Земля – Луна и обратно полосу прозрачности пожирало

молчание.

– Вы возили его к врачам?

– А ты как думаешь?

– И?

– Они тоже не понимают.

Молчание между ними; молчание мчится по космосу со скоростью света.

– Возвращайся, Борис, – сказал Ян, и Борис изумился тому, как мальчик повзрослел, каким он стал мужчиной, чужаком, которого Борис не знает – и жизнь которого он столь ясно помнит.

Возвращайся.

В тот же день Борис собрал скудные пожитки, освободил номер в отеле «Весы» на бульваре Армстронга, сел в шаттл до лунной орбиты, пересел на корабль до Врат и, наконец, слетел на Центральную станцию.

Память как разрастающийся рак. Борис – врач, он видит собственный Мост Вэйвэя – странную полуорганическую опухоль, которая вплетает себя в кору головного мозга и серое вещество Чонгов, сообщается с их нодами, прорастает причудливыми тонкими спиралями чуждой материи – эволюционировавшая технология, *ферботен*, Иная. Она опутала мозг отца, то и дело выходя из-под контроля, она росла, точно рак, и Влад не мог двигаться из-за своих воспоминаний.

Борис подозревает это, но не знает точно – как не знает, чем расплатился Вэйвэй за милость, какую ужасную цену с него стребовали – воспоминание об этом, единственное из всех, стерто: только Иной, говорящий: «Так и будет», – а через миг Вэйвэй стоит на улице, перед закрытой дверью, и моргает, глядя на древние каменные стены и спрашивая себя, получил ли он то, чего хотел.

Когда-то тут были сплошь апельсиновые рощи… Он помнил, что подумал это по прибытии, уже на Земле, когда выходил из дверей Центральной в жаркий влажный воздух, будучи сбит с толку дискомфортной гравитацией. Стоя под навесами, он втянул носом воздух; гравитация тянула вниз, но Борису было все равно. Запах остался тем же, памятным, и апельсины, исчезли они или нет, были здесь, знаменитые апельсины Яффы, которые росли, когда не было ни Тель-Авива, ни Центральной станции – одни апельсиновые рощи, и песок, и море…

Борис перешел через дорогу, ноги вели его сами, у них была своя память о том, как переходить дорогу от больших дверей

Центральной к пешеходной улочке, к сердцу старого района, который оказался таким маленьким, в детстве это был целый мир, а теперь он съежился…

Людская толчея, жужжат на дороге солнечные тук-туки, разевают рты туристы, проверяет фид-статистику мнемонистка, транслируя все, что видит, осязает и обоняет, в сетевые каналы, запечатлевая Бориса, переправляя его образ миллионам равнодушных зрителей по всей Солнечной системе…

Щипачи, скучающий охранник УС-безопасности глядит по сторонам, роботник без глаза и со скверными пятнами ржавчины на груди просит милостыню, потеющие в жару мормоны в темных костюмах раздают буклеты, через дорогу тем же заняты элрониты…

Накрапывает дождик.

С ближайшего рынка доносятся призывы торговцев, обещающих свежайшие гранаты, дыни, виноград, бананы, в кафе впереди старики играют в нарды… Посреди хаоса медленно бредет Р. Патчедел, робот в оазисе спокойствия, во тьме-тьмущей шумных, потных людей…

Борис смотрел, нюхал, слушал, *запоминал* так энергично, что поначалу не видел их – женщину и ребенка на той стороне улицы, – и чуть было с ними не столкнулся…

Мириам – и мальчик.

Теперь он хочет пойти к ней. Мир проснулся, и одинокий Борис стоит на крыше старого квартирного дома, одинокий и свободный, не считая воспоминаний. Он смотрит на старого альте-захена, Ибрагима, который едет внизу на телеге; его называют Властелином Ненужного Старья; и Борис удивляется тому, что старик еще не отошел в мир иной. Рядом с Ибрагимом сидит мальчик, похожий на Кранки. Терпеливая кобыла тащит телегу по дороге, и Борис глядит на них до тех пор, пока телега не скрывается из виду.

Он не знает, что делать с отцом. Он вспоминает, как держал его за руку, когда был маленький и Влад казался таким огромным, таким уверенным в себе и полным жизни. Они идут на пляж, стоит лето, в Менашии перемешались евреи, арабы и филиппинцы, мусульманки в длинных темных одеждах и дети, которые с визгом носятся по улицам в одних трусах; тель-авивские девушки, безмятежно загорающие в узеньких бикини; кто-то курит косяк, и резкое амбре струится в морском воздухе; Ибрагим, альте-захен, он тоже здесь, переходит улицу вместе с кобылой (совсем другой); спасатель на вышке выкрикивает на трех языках инструкции: «За буйки не заплывать! Чей бесхозный

ребенок? Пожалуйста, подойдите к спасательной вышке *срочно*! Люди на лодке, плывите в направлении тель-авивской марины и держитесь в стороне от зоны плавания!» – слова тонут в гомоне, кто-то припарковал машину и врубил на всю катушку стерео, сомалийские беженцы готовят барбекю на лужайке променада, белый парень с дредами играет на гитаре; Влад ведет Бориса за руку в воду, великан, который всегда рядом, так что Борис знает, что ничего плохого никогда не случится: что бы там ни было, отец защитит его всегда.

Четыре: Властелин Ненужного Старья

Тогда в Яффе и на Центральной станции еще жили люди, прозванные *альте-захен*, они жили там всегда, и первым из них был Ибрагим по прозвищу Властелин Ненужного Старья.

Тогда в Яффе еще жили люди, прозванные *альте-захен.* Бродячие старьевщики, частью евреи, частью арабы, частью еще кто-то. Это случилось вскоре после Убийства Мессии, о котором вы точно слышали, о котором историк Элезра (между прочим, предок Мириам Элезры, которая с автоматоном Голды Меир отправилась на Марс-Каким-Он-Не-Был и изменила орбиту планеты) написал: «То было время горячности и неопределенности, время ненависти и мира, когда появление и последующая казнь мессии стали почти случайностью».

Вы наверняка приближались к нему тысячу раз. Он появляется на заднем плане – всегда на заднем плане – туристических фотографий и бесчисленных фидов. Сначала телега: плоская панель на четырех колесах древней освобожденной машины. На автомобильных кладбищах Яффы множился транспорт эры внутреннего сгорания: автомобильные башни образовали свалочный городок, в котором укрываются местные неудачники. Телегу тащат одна или две лошади, выведенные и родившиеся в городе: разномастные кобылы, серая и белая, палестинские, смешанной породы, дальние родственницы благородных арабских скакунов. Маленькие, сильные и терпеливые, они волокут повозку, переполненную сломанными вещами, ничуть не жалуясь, а по выходным, нарядившись в колокольчики и разноцветные попоны, за деньги катают малышей по приморскому променаду.

У альте-захенов, как во время оно у древних портовых грузчиков, есть *лиджана,* тайный совет правителей, – легион, избранный за потрепанность годами и опытом, – и самым видным членом *лиджаны* является как раз Ибрагим.

Кто он, Ибрагим, – и как он попал в город Яффу у голубых искристых вод Средиземного моря?

По правде говоря, никто не знает. Он был здесь всегда. Король старья былого и грядущего. Ходили слухи, что он – Иной и родня Оракула с холма; ведь Ибрагим тоже Соединен, его большой палец – золотой протез, Иной, ввитый в нод; человеческое и цифровое сознание слиты воедино. Никто не знает, как зовут Иного. Очень может быть, что оба они Ибрагимы.

Его маршрут почти неизменен. По узким проулочкам древнего Аджами, мимо каменных домов, что глядят свысока на море и бухту, прочь от новых репатриантских высоток; вниз по холму к старинной часовой башне, по улице Саламе идет он, непрерывно выкрикивая:

– Альте-захен! Альте-захен!

Горка старья на телеге растет. Отвергнутый мусор веков. Люди поджидают Ибрагима. Рваные пятнистые матрасы, столы со сломанными ножками, древние китайские напольные часы массового производства, вроде как популярные в безымянном сгинувшем десятилетии. Отвергнутые автоматоны, вьетнамские боевые куклы с давно закончившейся войны. Картины. Печатные книги, плесневеющие, рассыпающиеся страницы – словно листья. Компрессоры от гигантских холодильных установок для рыбы. Поблекшие турецкие ковры.

А один раз – ребенок.

Ибрагим нашел младенца, совершая обход. Было раннее утро, насилу рассвело. Ибрагим двигался по Саламе и свернул к Центральной.

Кварталы адаптоцвета в вышине колыхал бриз. Адаптоцвет, как сорняк, опутывает Центральную. Он разросся на задворках старого района вдоль древних заброшенных шоссе Тель-Авива, кольцуя титаническую структуру вознесшегося к небесам космопорта. Дома распускают почки, будто деревья, они цветут; вездесущий сорняк питается дождем и солнцем, зарываясь корнями в песчаную почву, ломая древний асфальт. Кварталы адаптоцвета, переменчивые, зависимые от времен года, опутывают стены, двери и окна; полуоткрытая канализация болтается на ветру, обнажаются бамбуковые трубы, квартира обрастает квартиру снаружи и врастает в нее внутри без порядка или логики, появляются подвисшие над пропастью тротуары, дома под безумными углами, лачуги и хибары с наполовину сформированными дверями, окна, похожие на глаза…

Осенью кварталы линяют, двери жухнут, окна медленно скукоживаются, трубы никнут. Дома, как листья, опадают на землю, и уличные уборщики счастливо мурлычут, заглатывая сморщенную листву бывших жилищ. В вышине обитатели кустарных сезонных трущоб ступают с опаской, пробуя настилы на прочность, вдруг те не выдержат, и нервно мигрируют по линии горизонта в иные, более свежие ответвления адаптоцвета, нежно расцветающие, окна распахнуты, как лепестки…

Металлическая и пластмассовая рухлядь на дороге внизу. Ибрагим не знал, чем эта рухлядь была раньше: вероятно, автомобили и бутылки из-под воды, из которых сделали никому

не нужную скульптуру. Искусство разрасталось на Центральной так же, как дикая техника.

Младенец лежал неподалеку. Маленький сверток; Ибрагим не замечал его, пока тот не шевельнулся. Старик осторожно приблизился; бывало, что вещи на Центральной сходят с ума. Порой среди мусора попадаются змеи, еще живые боевые куклы, адаптоцветная мебель с враждебным софтом, старое оружие и боеприпасы, сотворенные юбер-юзерами виртуальные религиозные артефакты непонятной мощи…

Ибрагим подошел к свертку, тот агукнул. Старик вмерз в мостовую. Знакомый звук. Как-то раз Ибрагим наткнулся на волчонка, контрабандой привезенного из Монголии. Волчонок умер в неволе. Он издавал такие же звуки.

И все-таки Ибрагим шагнул ближе. Пригляделся.

На него смотрел ребенок. Обычный ребенок, каких видишь каждый день повсюду: в Яффе и на Центральной полным-полно детей. Только этот лежал в коробке из-под обуви.

Ибрагим опустился на колени. Коробка с дешевым брендом. Ясные зеленые глаза младенца лучатся, он темнокожий, волос на голове нет. Ибрагим уставился на ребенка. Вокруг – никого. Младенец рыгает.

Ибрагим протянул руку к мальчику – это был мальчик – опасливо, все еще недоверчиво. На Центральной надо всегда быть начеку. Мальчик поднял ручку в ответ. Умен не по годам. Они будто стремились к рукопожатию. Пальцы соприкоснулись. Ибрагима ударил поток данных, шедших словно по скоростной сети. Сознание заполонили образы. Невероятные. Виды с колец Сатурна. Битва четырехруких краснокожих марсианских Перерожденных в их виртуальной империи. Рабби на космолете, летящем в Пояс, молится в поле астероидов, в сырой комнатке внутри древнего шахтерского суденышка.

В прикосновении мальчика звучал *токток блонг нараван*, язык Иных.

Иной Ибрагима очнулся. Сказал: *Какого…*

Сознание Ибрагима не выдержало атаки. Инфобуря бушевала, отклоняясь к Иному, а тот схлопнулся, пытаясь совладать…

Одно ясное слово выпорхнуло из цифроворота, и Ибрагим раболепно скорчился…

Мессия…

Убери руку!

Легкое прикосновение ребенка лишило его свободы. Он сражался…

Младенец рыгнул и улыбнулся. Контакт пропал.

Ибрагим: *Ты что-нибудь понял?*

От Иного – ни образа.

Ибрагим:?

Иной, наконец-то:!

Ибрагим уставился на ребенка, и Иной – через глаза Ибрагима – сделал то же самое.

Одна мысль в обоих сознаниях:

Опять? Только не это!

Ибрагим мог бы сообщить об опасности. Транслировать посредством нода сигнал бедствия, чтобы тот поскакал по бесчисленным сетям, опутавшим этот город, эту планету, населенный людьми космос окрест, планеты, луны, кольца – и корабли Исхода тоже. Материализовались бы миротворческие машины, паукообразные, мехаубойный отдел двойного кодирования, ведь в буферной зоне иначе никак: Центральная отделяет арабскую Яффу от еврейского Тель-Авива. Глубоко зашифрованный цифровой спор о юрисдикции, анализ ДНК мальчика… Но уже по цвету глаз (торговая марка «Боуз», хакнутая, копирайту лет сорок, он по-прежнему защищен суровым законом) Ибрагим все понял. Мальчик был чан-рожденным; такое делали только на Центральной.

Программа выведения мессии? – вопросил приходивший в себя Иной.

– Понятия не имею.

Ибрагим сказал это вслух, но негромко. Младенец булькнул.

Это разумно?

– У тебя есть другие предложения?

Мне это не нравится.

Коммуникация ускорялась, речь замещалась закодированными образами, облаками смыслов. Обрубив цифропоток на середине, Ибрагим поднял ребенка.

– Мальчик, – сказал он, ни к кому не обращаясь, вспоминая иерусалимское убийство, будто это было вчера, – заслуживает другой судьбы.

Случилось это много лет назад. Мальчика назвали Исмаил. Его растили заботливо, как могли.

Ибрагим жил на гигантской свалке, обозначавшей границу Яффы и бывшего еврейского города Бат-Ям. Там обитали полуразумные машинки и роботники, все бездомные и никому не нужные.

Свалка.

Дворец Ненужного Старья.

Казалось, что для мальчика он идеален.

Так что Исмаил рос, учась арабскому у жителей Аджами и боевому идишу у роботников. Он говорил на астероид-пиджине, он же *токток блонг спес*. Он говорил на иврите соседнего города. Повзрослев, он иногда помогал Ибрагиму во время обходов территории.

Через Аджами к часовой башне, по Саламе к Центральной… Ибрагим подбирал раненые вещи, его роботники ржавели и гнили заживо на улицах Центральной, а он подбирал их, чинил, и они отвечали ему верностью – тем единственным, что могли дать. Еще куклы из синтеплоти, перелатанные, с отторгавшимися органами, размером с ребенка, лица едва намечены, одни сбежали из плотонариев, другие были солдатиками на городских войнах, все массово импортировались с заводов на другом конце света и вышвыривались на свалку за ненадобностью.

Трансживотные – их франкенштейнили в домашних лабах любознательные детки с геноконструкторами и инкубаторами. Ручной дракон Ибрагима, грустное создание, переделка водящейся на Канарах *лагарто хиганте де ла Гомера*, полумеха с аппаратом для огненного дыхания; несчастную тварь, кашляющую огнем, мальчик прозвал Хамуди, несмотря на все свидетельства обратного – ничего милого в ней не было.

Все это племя обитало на обширной свалке, которая образовывалась слой за слоем веками, – рай для археолога, который мог найти тут что угодно, останки любой эпохи.

У мальчика были… вселяющие тревогу привычки.

Он мог предсказывать погоду в данной местности. И не столько предсказывать, беспокойно размышлял порой Ибрагим, сколько делать так, чтобы прогноз сбылся.

Когда Исмаил спал, его сны иногда овеществлялись над его головой: ковбои и индейцы гоняли друг друга в мутно-сером пузыре сновидения, который формировался из атмосферной влаги и испарялся, едва БДГ-сон уступал место более глубоким состояниям НБДГ.

У мальчика имелось сродство с машинами. Нод ему, как и всем детям, вживили при рождении. Он не был Соединен с Иными или подключен к ним, и все-таки временами Ибрагиму и его Иному отчетливо казалось, что мальчик слышит их разговоры.

Конечно, ты знаешь, что это такое, – сказал Иной.

Ибрагим кивнул.

Они стояли во дворе. Солнце палило вовсю, и за каменными домами Аджами море лежало гладкое, как зеркало; над ним ныряли и вздымались на ветру солнечные серферы.

Есть и другие. Дети, рожденные в чан-лабах Центральной станции.

– Я знаю.

Нам нужно поговорить с Оракулом…

Ибрагим знал ее давно. Знал даже ее настоящее имя. Никто не рождается оракулом… А еще они были родней – по крови и по Иным. Ибрагим сказал:

– Нет.

Ибрагим.

– Нет.

Мы совершаем ошибку.

– Дети сами выберут свой путь. Со временем.

– *Баба*! – Мальчик подбежал к Ибрагиму. – Можно, я сегодня поеду с тобой на телеге?

– Не сегодня, – сказал Ибрагим. – Может быть, завтра.

Мальчик сморщился от разочарования.

– Ты всегда говоришь, что завтра, – обвинил он.

Здесь безопасно, – сказал Иной безмолвно. – *Здесь он под защитой.*

– Но ему нужно играть с ровесниками.

– Что такое, *Баба*?

– Ничего, Исмаил, – сказал Ибрагим. – Ничего.

Но он лгал.

Через пару месяцев умер дракон Хамуди. Прошли похороны, самые пышные за всю историю Дворца Ненужного Старья. Дракона провожал почетный караул из потрепанных боевых кукол и роботников, соседи по району явились, несмотря на жару, в траурных одеждах. Старьевщики выкопали яму, извлекли из нее схороненные сокровища – ржавый велосипед, коробку темного дерева с шахматами ручной работы, металлический череп. Слепой нищий Ной, друг Ибрагима, стоял рядом с ним, когда гробик опускали в землю. Обряд совершила священник – марсианская Перерожденная, последовательница Пути; ее красная кожа сверкала на солнце, четыре руки совершали сложные движения, пока она ткала узор из слов скорби и утешения, рассказывая о том, как принимает дар Император Времени. Исмаил тоже был там, и слезы его уже высохли.

Слепой нищий Ной с драгоценными камнями вместо глаз следил за церемонией через нод сразу по нескольким каналам. Пришел Пим, знаменитый мнемонист, и похороны вплелись в его Нарратив длиной в жизнь. Все данные отправлялись подписчикам Пима, чьи номера миллионами мерцали по всей Солнечной системе. Как ни крути, вышло все трогательно и возвышенно.

– Что за мальчик рядом с Исмаилом? – спросил Ной.

Ибрагим взглянул:

– Какой мальчик?

– Маленький, тихий.

Ибрагим нахмурился. Прислушался к шепоту Иного в голове. Ибрагим переключился – глаза могут лгать. Он посмотрел на Исмаила так, как это делал Ной, через Разговор.

Теперь мальчик стал заметен, но фрагментами. В некоторых фидах его не было вовсе, в некоторых он был всего лишь тенью. Цельную картинку давал только многомерный взгляд Ноя. Мальчик и Исмаил молчали, и все-таки Ибрагиму показалось, что они лихорадочно разговаривают.

Темно-синие глаза. «Армани», не иначе. Ибрагим не помнил, видел ли он мальчика прежде. Еще один ребенок Центральной. Мальчик посмотрел на него, каким-то невозможным образом ощутив чужое внимание. Улыбнулся уголками губ.

Миниатюрного дракона погребли под землей. Перерожденная пропела завершающие слова прощания. Роботники летаргически отдали честь. Палило солнце.

– Твой друг – кто он? – спросил Ибрагим, когда они чуть позже пили холодный лимонад в тени останков автомобилей.

Подростки озорно осклабились, и мальчик сказал:

– Нэм блонг ми Кранки.

Меня зовут Кранки.

Видеть мальчика было нелегко. Он переключался с одного визуального фида на другой – призрак в перепутанных сетях.

– Привет, Кранки, – сказал Ибрагим.

– Меня мама зовет, – сказал вдруг мальчик. Его голос шел издалека, из ниоткуда. – Я пойду.

Он исчез, и Ибрагим встревожился.

– Мессианский импульс сильнее всего при сосредоточении, – заметил Ной философски. Похороны завершились, Исмаил убежал. Ибрагим знал, что мальчик играет на пляже с другими детьми. На этот раз – во плоти. – Наша земля всегда как магнитом притягивала искателей веры.

Слишком многое оставалось несказанным. Ибрагим осторожно подбирал слова:

– Я хотел, чтобы мальчик жил нормальной жизнью.

Ной пожал плечами, и его глаза, драгоценные камни, слабо просияли:

– Что значит «нормальной»? Мы с тобой – пережитки древнего прошлого. Окаменелые раковины под барханами времени.

Ибрагим нехотя рассмеялся:

– Ты рассуждаешь как Перерожденный.

Ной ухмыльнулся, потом снова пожал плечами:

– Перерожденные верят в прошлое, которого не было. Ищут виртуальные окаменелости.

Улыбка сошла с лица Ибрагима.

– А на самом деле? – уточнил он.

– А на самом деле эти дети – будущее. Может, не какое-то определенное, но просто будущее – точно. Фрагменты будущего в настоящем. Мы с тобой оба это понимаем. Будущее ветвится, как дерево.

– Сколько? – беспокойно спросил Ибрагим. Ной хмыкнул.

– Детей?

Ибрагим кивнул. Ной сказал:

– Спроси человека из родильных клиник. – Он тяжело поднялся. – Пойду-ка я. Офелия уже заждалась.

Ибрагим остался на свалке один. Город, казалось, готовился к крестовому походу. Ибрагим еще помнил, как мессия, настоящий, генетически удостоверенный потомок царя Давида, прибыл в Иерусалим на белом ослике, со всеми положенными знамениями. Не конкретный конец света – просто конец света. А потом кто-то снял мессию из снайперской винтовки.

Одним мессией меньше.

Этой части мира мессия нужен всегда. Другим тоже. Ходили слухи о лаосском проекте «Сингулярный Иисус». Черные Монахи. Говорили, на Марсе, в Новом Израиле, выращивают обширное виртуалье, в котором не было Холокоста. Шесть миллионов множащихся духов. Говорили, астероид Сион улетает прочь из Солнечной системы, следуя за наведенной мечтой инопланетного бога. Ибрагим был стар. Он бродил здесь еще во времена апельсиновых рощ. Когда-то в Яффе останавливались пароходы, и верблюды доставляли в бухту апельсины сорта «шамути», и лодчонки перевозили их на поджидавшие корабли. Этот город всегда был узлом в глобальной сети. Грузы переправлялись в Англию, в порты Манчестера, Саутгемптона, Плимута, и люди там еще помнили апельсины Яффы.

Центральная станция нам в новинку, думал он. Новый узел новой сети. Где-то в этом микрокосме отчуждения зарождались новые религии, выводились мессии. Ибрагим хотел для мальчика нормальной жизни. Но нормальная жизнь – никогда не данность: это иллюзия консенсуса, и мальчик с глазами от «Армани» видел ее насквозь.

Такие дети рождались искусственно. Кто-то планировал их появление. Однажды мальчик изменится, но чем он станет – этого Ибрагим пока не знал.

Той ночью, после похорон, Ибрагим сидел во Дворце

Ненужного Старья, когда Исмаил вернулся с пляжа. Маленькое гибкое тело еще искрилось каплями морской воды, глаза светились, Исмаил улыбался. Ибрагим, у которого не было своих детей, обнял мальчика.

– *Баба*! – сказал тот. – Гляди, что я нашел!

Любовь – это тревога и гордость, их переплетение. Ибрагим смотрел, как мальчик вышел и вернулся со щенком, черным песиком с белым носом, лизавшим ему запястье.

– Я назову его Сулейманом, – сообщил Исмаил.

Ибрагим рассмеялся.

– Тебе придется его кормить, – предупредил он.

Исмаил убежал, щенок понесся за ним, высунув язык. Ибрагим глядел им вслед, и его терзало беспокойство.

Ночью ему приснился сон. Во сне два мальчика стояли у костра, разведенного неподалеку в перевернутой бочке. Ибрагим знал, что Исмаил спит, а его друг Кранки далеко отсюда, на Центральной, и все равно ощущал, что видит некую странную реальность. Мальчики беседовали; их губы двигались; но звука не было, и Ибрагим не понимал, о чем они говорят. Он резко вынырнул из сна, сердце колотилось, Иной внутри проснулся.

Она идет, сказал Иной. *Она идет.*

Ибрагим понимал, что Иной сбит с толку. Он повторял слова, услышанные в своем сне.

Но кто именно идет, и почему, и с какой целью – этого они не знали.

Пять: Стрига

Однажды весной на Центральную явилась стрига.

Шамбло. Ее волосы уложены по моде Тунъюня: длинные дредлоки с вплетенной в них тонкой гибкой проволокой, реагирующей на невидимый разряд, шевелятся, как водяные ужи, на голове девушки, лениво ползая по ее черепу.

Глаза – фиолетовые, выращенные в чан-лабе; волосы – красновато-коричневые, с золотыми нитями, ловящими солнце.

Ее звали Кармель.

Заплатка из новой кожи на мягкой нижней плоти левой руки могла означать татуировку. Татуировка могла говорить о том, что девушку уже ловили – и пометили соответственно. На крыше Центральной станции Кармель высадилась из транспортной суборбитали вместе с прочими пассажирами, замерла – и вдохнула разреженный воздух Земли.

Вы, никогда не бывавшие в Доме Человека! Вспомните слова поэта Басё, написавшего:

Сип блонг спэс
Планэт Эс хэмиа!
Эа блонг хэм и но сэмак
Ол нарафала плэс.

Что примерно переводится так: «Космический корабль –/вот что есть Земля!/Воздух ее не схож/с воздухом мест иных».

Впрочем, название Дом Человека уже давно в опале; правильнее говорить Расцвет Человечества, или, как иногда называют Землю Иные, Сердцевина.

Невзирая ни на что.

Шамбло по имени Кармель явилась на Центральную весной, когда пьянят уже запахи, разлитые в воздухе. Запах моря и множества тел, их пота, тепла, жара; запах человеческих пряностей и холодный аромат массы человеческих машин; запахи смолы и сока, сочащихся из порезов вечно обновляющихся адаптоцветных районов, и древнего асфальта, нагревшегося на солнце, и исчезнувших апельсиновых деревьев, и свежескошенной лимонной травы; запах Расцвета Человечества, богатейший и наиболее концентрированный из всех; так не пахнет ни один из внешних миров.

И вот, стоя на крыше Центральной станции, девушка Кармель, закрыв глаза, долгий миг вбирала в себя все: странное и

непривычное притяжение, безжалостный удар солнца, мягкое, почти незаметное касание ветра, – изумительное, непредсказуемое целое, атмосферную систему этого мира, которая даже не была *цифровой*.

Затем на Кармель обрушились пульс и прибой Разговора. На пути сюда – медленные месяцы перелета из марсианского Тунъюня к долгожданным Вратам на Земной Орбите – ей отлично удавалось фильтровать Разговор: она чуть не умерла от голода. Кармель путешествовала на «Гель Блонга Мота», самом древнем из торговых судов, бороздивших Солнечную систему. Ей так хотелось покоя.

Но теперь Разговор взрывался вокруг нее, почти оглушая. Еще более концентрированный – здесь, на Земле. И другой, конечно же. Странные архаичные протоколы мешались с бурным *токток блонг нараван*. Здесь часть Разговора из Внешней системы – от Брошенных, из облака Оорта, с Титана и Галилейских Республик – была слабой, разжиженной. Пояс мигает десятками обрывающихся фидов. Марс – спокойное бормотание. Лунопорт – вопль в ночи. Но Земля!

Кармель и представить себе не могла, что подобный Разговор возможен: столь *близок* и все-таки так *далек*, и настолько *сжат*. Миллиарды людей, бессчетные миллиарды цифровых и машин, все говорят, болтают, шарятся как могут. Картинки, текст, голос, записи, бьющая по всем каналам сразу мнемомедиа, растекшиеся за свои пределы игромиры – все это в один момент навалилось на нее, и она инстинктивно отшатнулась.

– Вы в порядке, милочка? – чей-то добрый голос. Марсианская китаянка с живыми, очень зелеными (натуральными? быстрый скан не выявил запатентованных брендов) глазами. – Гравитация, да? В первый раз к ней привыкнуть непросто.

Она протянула Кармель руку, предлагая на нее опереться. Кармель благодарно согласилась, несмотря на испуг. Она заэкранировала женщину как могла. Человеческий нод – так близко; она боялась поддаться искушению. Ее голод, ее слабость не спасали – наоборот. Нужно поесть, и чем скорее, тем лучше.

А Земля – это круглосуточный шведский стол в Тунъюнь-Сити: ешь не хочу.

– Спасибо, – сказала Кармель. Женщина улыбнулась, и они пошли по размеченной дорожке к Высадке. Под пристальным взглядом портальных сканов Кармель напряглась, но самую чуточку. Ее внутренние сети делали вид, что она – та, за кого она себя выдает.

Пинг на внутреннем ноде: *Одобрено*. Кармель выдохнула. Они

с женщиной вошли в лифт и поехали на нижние уровни.

– Я на Земле в третий раз, – сказала женщина. В ней не было напряжения, она облекала Кармель доверием так, будто знала ее всю жизнь. Советская китаянка, но не из Тунъюня; значит, из коммуны, сотни которых образовались за столетия в долинах Маринера в тени горы Олимп. – Третий раз на Земле – разве не чудесно? Конечно, летать дороговато, но мои предки – они здесь, на Центральной. – Она расплылась в радостной улыбке. – Странно, да? Приехали сюда из Китая и с Филиппин, чтобы работать на евреев в Тель-Авиве, ну и остались. Здесь. В старом районе. У меня тут до сих пор родственники. Я Магдалена У, но вообще-то я из Чонгов Центральной станции. Очень странно… Я выросла на Марсе. Мы выращиваем помидоры, арбузы, медицинскую марихуану, *ваэтбун кабидж*… Наши подземные парники тянутся на много миль, вы даже не представляете, наверное, какой кайф – ухаживать за всей этой зеленью. Говорят, Марс – красный, но когда я о нем думаю, когда я думаю о доме, для меня он – всегда зеленый. Разве не странно?

Кармель, то ли ошеломленная, то ли доверившаяся разговорчивой пожилой женщине, ничего не сказала. Магдалена кивнула.

– *Ваэтбун* пользуется огромным спросом, – сказала она. *Ваэтбун кабидж* – огородная капуста на астероид-пиджине. – Моя семья эмигрировала в Век Дракона… – Кармель знала: это столетие, когда Дракон основал его/их/свои странные колонии на Гидре. Рефлекс: ее моментально заполнили образы – фотографии Мира Дракона в свободном доступе, бесконечные лабиринтоподобные термитники, тысячи одноразовых кукол движутся по ним с непонятными целями, нод каждой – звено в цепи того, кто больше суммы своих частей, Иного, известного как Дракон, цифрового существа с необычным пристрастием к *телесности*, к вселенной-1. – Мы живем – небогато, но нам хватает, – торгуя капустой. Какое полезное растение! Незаменимый источник витамина С и индол-3-карбинола. Капуста есть на каждой кухне. Сосед разводил кимчи, он потом женился на моей родственнице. – Она пожала плечами и продолжила: – Мы справляемся. Денег достаточно, вот я и побывала здесь дважды. Чтобы увидеть, откуда все началось. С Центральной станции мы отправились к звездам. Разве это не прекрасно? И так странно – улочки не выглядят настоящими, правда же? Ну да, вы же здесь еще не были. Они кажутся более узкими, чем наши парники. Много миль парников… Я так люблю по ним гулять.

Лифт привез их на нужный уровень гигантского космопорта. Двери открылись. Обе вышли.

– Уровень Три, – сказала женщина. – Ну точно миниатюрная версия третьего уровня зала ожидания Тунъюнь-Сити, вам не кажется? Так необычно.

Кармель помнила третий уровень. Базар верований. Игромирные ноды. Арены дроидов. Она… она бродила там какое-то время. Столько церквей – и столько правоверных, которым только дай поохотиться на стригу.

Однажды они ее чуть не поймали. Собралась толпа. Она жадно глотала пищу. «Шамбло!» – орали они. Показывали пальцами. Глумились. Ужасались, кривились. Потом стали бросать камни. Хуже того. Атака типа «отказ в обслуживании», грубая, но эффективная. Заблокировать ее в Разговоре. Отрезать ее от ее фида.

– Вы приехали в Тель-Авив? – спросила Магдалена. Увидев, что Кармель смутилась, добавила: – В Яффу? Нет? Поедете дальше?

– Я сюда. – Говорить – странно. На борту она не проронила ни слова. – Просто… сюда.

– Наружу выйдете?

Кармель пожала плечами. Она не понимала.

Магдалена, будто пожалев ее, кивнула и мягко взяла ее за руку.

– Здесь есть маленький алтарь, – сказала она. – Алтарь Огко, но… Мы можем, если хотите, пойти вместе. Куда именно вам нужно? Вы знаете?

– Я…

То, что влекло ее сквозь космос в чуждое, заставляющее ощущать себя чужаком место, на миг пропало.

– Вы не из разговорчивых, – сказала Магдалена. Кармель улыбнулась, сама того не ожидая. Магдалена улыбнулась в ответ. – Пойдемте к Огко. Потом посмотрим, что нам с вами делать.

Взявшись за руки, они пошли по огромному залу ожидания к Пассажу верований.

Сегодня алтарь Огко можно найти практически везде. Пусть Огко и не одобряет алтарей. Он – самое сварливое из божеств: ленивый мессия. Если вы подписаны на Инопланетную Теорию Духовных Существ (она была популярной недолго, во время дела Шангри-Ла), для вас Огко может быть – наряду с Иисусом, Мохаммедом, Ури Геллером и Л. Роном Хаббардом – инопланетной сущностью. Таков был ответ на знаменитый

парадокс Ферми. Мы не видим инопланетян *там*, утверждали сторонники ИТДС, потому что они уже *здесь*. Они ходят – и проповедуют – среди нас.

Автор «Книги Огко» рассказывает историю своих контактов с инопланетянином, с энергетической сущностью по имени Огко. «Я его выдумал, – пишет он. – Я заимствовал его форму и очертания у воды и листьев, у влажной почвы Меконга и маршрутов диких боевых дронов Золотого Треугольника. Он – не настоящий. Как и я».

Огко, с готовностью признает автор, – лжец. Однако же его философия-без-философии, удивительное восхищение незначительным человечеством, «дождем ярких брызг в великой тьме», как он выразился, когда на него накатил стих, – все это почему-то дало ростки.

Огко прижился. Его мессидж «Мы что-то значим только для себя» странным образом отзывался в людях. Скромные алтари, посвященные воображаемому игривому существу, вряд ли существовавшему, возникали то тут, то там в странных местах: на углах улиц и плантациях, в кораблях Исхода и подземных улочках Марса, на шахтерских кораблях-одиночках среди астероидов и в игромирах и виртуалье Разговора.

На Центральной станции и правда имелся маленький алтарь – между элронитским храмом и католической церковью. Кто-то оставлял на нем растения в горшках: изобилие цветов и ароматов, яркие лепестки и вьющиеся стебли; на невысоком постаменте курятся палочки ладана, рядом – свечи на разных стадиях выгорания: одни пылают, другие гаснут. Магдалена зажгла тонкую свечку, подозвала свой багаж. В отдалении появился чемодан на колесиках, спешивший к алтарю. Когда он подъехал, Магдалена, рассеянно похлопав его по боку, достала маленький сверток. Положила его между горшком с геранью и очень голодной венерианской мухоловкой. В горшочке Магдалены росла, конечно же, маленькая белая капуста.

Кармель глядела на венерианскую мухоловку в ужасе и восторге. Как в зеркало смотрелась. Растение разве только не погибало от голода. Кармель думала о еде, потому что не думать о ней было невозможно, и присутствие марсианской женщины, Магдалены, становилось все большей проблемой: жалкую защиту ее нода Кармель взломала бы без труда; она впитывала обрывки образов, инфопакетов, случайные помехи, которые исходили от женщины, как аромат от свежеиспеченного хлеба, – и рот наполнялся слюной. Так легко…

Она неосознанно отступила на шаг. Магдалена, обернувшись, спросила:

– Вы в порядке?

– Мне нужно идти, – сказала Кармель. Сказала быстро. Паника бурлила в ней пузырьками. Все шумы, все звуки Разговора, которых она избегала, прорвали плотину. – Я должна… – Она не закончила мысль.

– Подождите! – крикнула женщина, но Кармель уже развернулась и убегала по огромному залу Уровня Три, ища выход; ища укрытие.

Ночь в Полипорте на Титане. За пределами купола багряное воюет с алым – грянула буря. Внутри самого Полифем-порта воздух горяч и влажен. Кармель бродит узкими переулками, избегая входов в подземелья: охотится на тени.

Пища на Титане разбросана маленькими порциями. Местные сети забиты наглухо, сигналы распыляются, дрейфующие в околосолнечном пространстве вереницы хабов их, разумеется, ловят, но на месте они совсем слабые. Так или иначе, Кармель нужно что-нибудь куда ближе. И *сокровеннее*.

Полипорт выстроен из грубого камня, здесь повсюду иная флора, толстые плющи обвивают постройки в один-два этажа. Кармель сбежала сюда, застопив торговый кораблик, что летел через Пояс к Внешней системе. Тогда-то с ней и приключилась эта пакость.

Стригами не рождаются.

Старый и грязный кораблик «Захудалый Спаситель»: в милю длиной, из скалы и стали, транссолнечный транспорт, выдолбленный несколько веков назад в космическом булыжнике на марсианской орбите, корпус обезображен бесчисленными ударами, в коридорах властвует сырость, то и дело вырубается электричество, перерабатываемый воздух протух, сады с гидропоникой поддерживаются кое-как.

В чреве корабля цветут буйным цветом джунгли. Древние сервиторы пытаются сдерживать их рост, но тщетно. Еще на борту есть крысы, земные зверьки, распространившиеся повсюду, и огненные муравьи, крошечные организмы, укусы которых горят огнем и не поддаются лечению.

Груз здесь отовсюду. В космосе груз – сам себе религия. Груз берут на Земле, поднимают на орбиту, в массивный хабитат под названием Врата. Груз берут в Лунопорте, его берут в Поясе, на Церере и Весте, где сосредоточено астероидное богатство. Груз берут в Тунъюнь-Сити и на прочей территории Марса: поставки с внутренних планет на внешние.

До этого длинного космического перелета все шло неплохо. После Пояса, сделав несколько остановок на ничем не

примечательных кольцах и в таких же хабитатах, корабль отправился в долгое странствие к лунам Юпитера, а оттуда – в еще более длительное путешествие к второму газовому гиганту, Сатурну. Когда прибыли на Ганимед, Кармель побоялась выходить наружу: Галилейские Республики иммигрантов не жаловали, а она уже заразилась.

С корабля ее выпнули только на Титане.

На «Захудалый Спаситель» она напросилась сама. Места хватало, член экипажа, который взял ее на борт, вел себя пристойно, он был марсианский Перерожденный, четырехрукий на манер последователей Пути, и обращения в свою веру не требовал. Звали его Моисей. Она привыкла к его запаху – масло, земля, пот, – к его мягкому голосу и доброте. В плане секса он был невзыскателен. В основном она шаталась по кораблю, изучала лабиринт коридоров, блуждала по гидропонным джунглям. После детства в Поясе корабль казался неимоверным: целый замкнутый мир.

Напали на Кармель неожиданно, во время длинного перелета. У Кармель, естественнно, имелся нод. Фоновый гул Разговора сопровождал ее, куда бы она ни пошла. Как и многие в ее возрасте, она экспериментировала с мнемонизмом, однако обнаружила, что ценит приватность, да и постоянный фид ее жизни интересовал, кажется, немногих. Как и многие в ее возрасте, она в какой-то момент нырнула с головой в игромиры и поработала офицером развлекательной связи на лунной базе во вселенной Гильдий Ашкелона, обменивая то, что зарабатывала в игромирье, на валюту вселенной-1. В ГиАш немало инопланетных видов, и роль офицера развлекательной связи может быть, несмотря на приобретаемый опыт, утомительной.

Если оставить все это за скобками, нод Кармель и порождаемое им сетевое волокно росли только за счет обычной инфы, увеличившись суммарно хорошо если на пару эксабайт.

И вот все изменилось.

Кармель шла по служебному коридору. Его, кажется, давно не использовали. Здесь прохладнее, в воздухе неподвижно висит пыль. Темнота; лампа впереди сломана, загорается и гаснет, будто передает секретное сообщение.

Из двери, которой не было, к Кармель шагнула женщина. Стена открылась, будто разошлись ячейки паутины, гладкий металл раздвинулся, как бамбуковая занавеска. Женщина виделась Кармель словно сквозь дымку. Маленькая, худенькая. Меньше Кармель. Никакой угрозы. Она произнесла: «Шамбло». Голос – равно испуганный и пугающий. Слово вонзилось в сознание Кармель, в ее нод. Оно распространялось, подобно

вирусу. Разбилось на фрагменты, те мутировали и спаривались, множились, росли, делились, распространялись, проникали в ее нод, в ее проводку, в ее разум. Кармель приросла к полу. Почему-то она не могла шевельнуться. Женщина подошла совсем близко. Обняла. Коснулась ртом шеи. Укусила. Не больно. Сначала холодно, потом тепло. Кармель пошатнулась. Женщина удержала ее, не давая упасть, и мягко уложила на пол. Встала рядом на колени и снова впилась в шею.

Ужасное, пьянящее чувство. Женщина будто натянула на голову Кармель эмпоратор «Луи У», слабым током стимулирующий центры удовольствия и высвобождающий огромные дозы допамина. Кармель застыла в экстазе, а женщина пожирала ее сознание, ее инфу, все самые секретные личные тривиальные воспоминания, вроде того, как…

В шахтерском корабле рядом с отцом, тот на минуту дает Кармель порулить…

В Ботанических садах Цереры, восхищаясь цветами, разве может быть столько…

В телевизоре – серия «Цепей сборки», Джонни Новум целует Бурю Стаканову-Джонс, в то время как граф Виктор, таясь, взирает с ненавистью…

Первый сексуальный опыт с ровесником в «море», так они называли соленое озеро на родном мирке, на астероиде Нг. Мерурун, кончики пальцев мальчика давят на грудь, незнакомый жар внутри…

И в Гильдиях Ашкелона, принимая первого инопланетянина, выбирая абстрактный аватар для гостя, посла могущественной гильдии Галактического Севера, инсектоидное создание, вцепившееся в нее клещами, точно испуганный мальчик ее возраста, и Кармель ведет его, и ощущает свою над ним власть…

Пытаясь научиться играть на гитаре, безрезультатно…

Плавая в невесомости шахтерского корабля, напевая популярную в том году песню Сиван Шошаним…

Готовя обед для семьи на кухоньке по соседству с комнатами в конце длинного коридора длинного дома, предстоит редкое пиршество, сестра родила первенца, забили свинью…

Стрига.

Слово пузырем вздулось в парализованном сознании. Кармель теряла память, теряла самоё себя, ее омывает наслаждение, невыносимый *экстаз* от прикосновений женщины, ее мозг подчиняется электричеству, ее нод взломан, ее инфа высасывается этой… этой *тварью* с древним, страшным именем, которое однажды произнесла сестра, а мать рассердилась и велела ей замолчать…

Шамбло.

Слово пробудило в Кармель внезапное отвращение, ужас, который не мог унять и допамин. Она боролась с женщиной, ее руки и ноги уже ничто не сковывало. Она не помнила, кто она, кем она была. Но женщина оказалась неожиданно сильной, она прижала Кармель к полу; в ноздри ударил запах страха, голода, возбуждения, струившийся от человекоподобного существа, и Кармель хотелось кричать, но голосовые связки не работали.

Зубы стриги оставили ее шею. Затем, будто приняв трудное решение, которое Кармель осознала много, много позже, стрига укусила ее снова.

Уже по-другому. Кармель распласталась на холодном жестком полу служебного коридора. Волна инфы окатила ее, проникла внутрь, сенсорное половодье выморозило ее, заставляя хватать ртом виртуальный воздух. И не только ее, но и фрагменты других людей, сущностей, переливающихся одна в другую, лишенных якоря воспоминаний, и на скоротечный миг она сделалась слайд-шоу из других людей: лунная торговка, марсианский геолог, Перерожденный с древнего Марса-Каким-Он-Не-Был, четырехрукий и бронзово-красный, стоящий на берегу мерцающего канала. Она – человек с Иным внутри, дрейфующим по плоти, робопоп в часовне св. Коэна, охотник на хагиратех в мире Брошенных, корабль Исхода, отчаливающий из Солнечной системы, человек в самом Доме Человека, плывущем в огромном и чуждом океане…

Она пришла в себя во тьме. Стрига исчезла. Кармель была одна. Голову ломило. Кармель дотронулась до губ: ободраны, саднят. Открыла рот, несмотря на боль, и поранилась. Оба ее клыка удлинились. Она была перепугана.

Ее восприятие себя переменилось. В последующие дни оно будет уходить – и возвращаться сильнее прежнего. Она познала себя изнутри, она слышала перешептывание волокон, которые, как раковая опухоль, прорастали из ее нода, проникая всюду, завоевывая тело. Нод рос, распространялся, становился ею самой. Она вернулась в каюту, где спал Моисей. Легла рядом. Провалилась в сон, а когда открыла глаза, Моисея не было. Она пошла в душ и взглянула в зеркало, но теперь зеркала ей были ни к чему. Она видела себя отраженной в виртуалье, каждый свой фрагмент, и ее переполняли призраки других людей.

Ночь в Полипорте, и она голодна, и в голове бесконечно крутится по замкнутому контуру стихотворение.

Поэт Басё, который повстречал шамбло в неторопливом путешествии по Солнечной, предположительно – на далекой марсианской заставе, писал:

Оли саксакэм савэ блонг юми
Оли саксакэм маэн блонг юми
Оли хаэд лонг садо

Аво!

Олгэта какаи фаэа блонг юми
Олгэта какаи савэ блонг юми
Оли го вокабаот лонг садо

Аво!

Самбэлу. Самбэлу. Самбэлу.
Оли какаи фаэа. Оли хаэд лонг садо.
Олгэта Самбэлу.

Что в переводе звучит примерно так: «Они высасывают мои знания/Они высасывают мой мозг/Они прячутся в тени/О!/Они едят наш огонь/Они едят наши знания/Они ходят в тени/О!/ Шамбло/Шамбло/Шамбло/Они едят огонь. Они прячутся в тени/ Они – шамбло».

В Полипорте Кармель проголодалась. Она скрывалась на «Захудалом Спасителе» месяцами, Моисей ее избегал, команда ее шугалась, но корабль и без того полнился сущностями, и никто ее не преследовал. На борту имелись и шамбло, и призраки цифреала, и кровавые ритуалы в недрах корабля – действа страшной накаймас.

Ее выпнули на Титане: в конечном счете ритуалы взяли свое, и темные сущности были изгнаны, Кармель в том числе. Их выпустили в Полифем-порте; ее дом остался далеко-далеко, в небе светило холодное тусклое солнце.

Она стала охотиться. В смятении. Некто Кармель с чужими воспоминаниями и чужим знанием перед глазами. Она видела: вот он шагает по улице, пьяно качаясь, нод нараспашку, уязвим, еле слышно транслирует что-то всему миру. Она подошла: руки трясутся, ноги не гнутся. Он обернулся с улыбкой, сказал мягко:

– Милая барышня… Что вы делаете на этой богом забытой луне?

Она протянула руку. Коснулась его плеча, и он замер, его система была взломана, Кармель шагнула ближе и погрузила новые клыки в шею, чтобы высосать его досуха.

Сочное, какое сочное сознание! Он – художник, погодный хакер, в голове – сплошь бушующие бури, ливни, ветер и власть.

Его зовут Столли («Как водку»), он полипортец, родился и вырос на Титане. Она впитала заумные процедуры погодного хакинга, память о вечеринке, на которую явился мнемонист Пим, обрывки стихов, агалматофилию, которая была в Столли сильнее прочих секс-импульсов, – влечение к куклам, манекенам, статуям, – и скромный талант к садоводству, и любовь к крепкому красному вину из винограда титанских подземелий.

Вдруг Кармель поняла, что пьет много, слишком много. Она и правда его опустошала. Она отстранилась, отключилась, поставила барьер между нодами, оторвалась от шеи.

– Подожди, – сказал он. Как под наркотой. – Ты… – Он моргнул. – Ты мне нужна.

Так пришла взаимозависимость. Теперь Кармель жила со Столли. Он был сговорчив, как всякий наркоман. «Шамбло», – говорит он со смесью удивления и желания. Они лежат в его постели, белая простыня мокра от пота, он гладит волосы Кармель, он ее боготворит, а она им питается, стараясь сдерживаться, стараясь дозировать, пить по капле, отдавать столько же, сколько забрала, чтобы он продолжал жить – погасшим.

Преступление. Тем более тяжкое, что она *не могла* себя контролировать. Волокна проникли во все закоулки ее тела; она обратилась. Возможно, та, что обратила Кармель, та, на корабле, сделала это от злости, желая передать темное проклятие стриги. Однако, поняла Кармель, куда более вероятно другое: безымянная шамбло выпила слишком много – и могла спасти ее, только обратив. Теперь и Кармель стала зеркалом, которое отражало других, но своего отражения не имело. Она питалась чужой памятью, чужой инфой, и голод не утихал. Кто и когда создал стриг? Этого Кармель не узнала. Древнее земное оружие, выпущенное на свободу. Если держать стриг в неволе, они могут быть полезны. Их разыскивают охотники за головами, их жестоко используют военные клики. Внутри себя она видела толпы, которые разрывают шамбло на части. Она не понимала, реальные это воспоминания – или же амальгама инфы, тщательно отобранной из Разговора; но люди ее боялись.

Ходили слухи о шамбло, ставших музами тех, кто служил им пищей. Вдохновительницами. Было что-то по-настоящему странное, возможно, уникальное в том, насколько интимно они делились инфопотоками. И Столли, казалось, был счастлив, в Кармель он души не чаял. Работал над новой инсталляцией, «Покой в буре», но все же…

Он угасал у нее на глазах.

Она опустошала его и не могла остановиться. Выход был один, обратить его, она это знала, но не хотела этого делать: скопировать себя было бы непристойно. Она постарела прежде, чем успела стать молодой. Побег из дома не принес ей свободы – только новое заточение.

Ее жизнь на Титане кончилась накануне презентации новой работы Столли…

Кармель мигнула. Она стояла в одиночестве в зале ожидания Уровня Три. Яркий свет, звуки взрывов, аплодисменты: рядом – арены боевых дроидов. Несметные полчища перемещаются по залу туда-сюда, едальни источают непривычные ароматы, дальше – базар верований, и той марсианки, Магдалены У, уже не видно…

Центральная станция.

Точно чуждый мир.

Кармель не представляла, что может ждать ее снаружи. Чуждая планета, а она – готовящийся к высадке исследователь, который не торопится ступать на поверхность, выходить на чуждый воздух. Кармель не собиралась устанавливать свой флаг. Среди Разговора она уже различала намеки и указания на того, кого искала. Снаружи – еще один мир, древний район, древнее, чем все, что человечество создало в космосе. Кармель устрашал сам возраст района. Она – создание иной эпохи, иных небес. Почти вслепую, на ощупь она пролагала маршрут по раскинувшейся перед ее глазами виртуальной карте обширного Уровня Три, пока не наткнулась на коконы игромирья.

Темные карманы узкого коридора, десятки коконов полной загрузки в каждом, занята едва ли половина. Люди работают в игромирах, живут в них, мечтают и занимаются любовью.

Кто-то, человек, оператор. Молодой, худой, взгляд нервный, в глаза не смотрит, хотя волосы Кармель, шевелящиеся сами по себе, то и дело к нему подкрадываются. Она оплатила ночь и устало скользнула в кокон.

Тот закрылся, запечатывая Кармель в безмолвии и темноте, и она уснула, подключившись, но и оставаясь неподключенной.

Полипорт, сумерки…

Церемония открытия проходила у мембраны купола, в назначенном месте на его восточной стороне, в конце лабиринта узких улочек.

Что было потом? Воспоминания туманятся…

Вот сам Столли, его изображение – слабая улыбка, бледность, – транслируется по сетям на весь Полифем-Порт, на

все немногочисленные колонии Титана и далее в пространство вокруг Сатурна, кочует с одного космохаба на другой, транслируется повсюду, увидеть Столли при желании может любой, инфа движется со скоростью света, так медленно…

Столли стоит и произносит короткую речь – бла-бла-бла, «моя Муза», именно что с заглавной, – у Столли трясутся руки, он поводит ими, призывая последние субпроцедуры и встроенные протоколы вдохнуть в его творение жизнь…

Взрыв отрывает Столли голову, орошая кровью собравшихся гостей.

Вопли становятся громче после второго взрыва, сквозь брешь в куполе проникает внутрь ядовитая атмосфера, на территорию порта ступает Титан… Паника, крики, сетевой трафик вдруг тысячекратно возрастает, весь Полипорт и люди в ближнем космосе подключаются, чтобы увидеть…

Увидеть последний, величайший шедевр Столли.

«Покой в буре» все еще можно рассмотреть на восточной стороне Полипорта, пусть вам и потребуется особое разрешение. Билеты продаются по обычным каналам. Брешь в куполе заделывать не стали; каким-то образом художнику со странным именем Столичная Биру удалось породить локализованный смерч: внутреннее и внешнее давление взаимно гасят друг друга.

По форме смерч – почти идеальная сфера. Периодически он склонен менять очертания и расширяться, поэтому вокруг него соорудили коридор безопасности и установили резервные фильтры – их задействуют при первых признаках опасности.

Но погодный хакер знал, что делает.

Смерч комбинирует внутреннюю атмосферу и атмосферу самого Титана, смешивает их в сложный, вечно бушующий багрово-белый комок бури, а внутри…

Давление гасит давление, однако внутри, там, где в буре есть покой, ниточки газа и пыли сплетаются в структуру, напоминающую лицо. Многое сказано и написано о лице, все попытки интерпретировать его провалились. Оно гуманоидное, возможно, женское. Глаза – фиолетовые взрывы. Рот открывается, постепенно показываются белые прожилки, похожие на клыки, кажется, что лицо корчит гримасу – или ухмыляется. Оно неспешно вращается, рассеивается, образуется вновь. Месяцами напролет оно остается совершенно бесстрастным, застывшим. Потом дробится на части и перерождается, снова и снова: покой в плену у бури.

Образ головы художника, взорвавшейся, чтобы пробить брешь, теперь локальный мем Разговора. Капли крови и частицы мозга творца – фрагменты инсталляции, они участвуют в

формировании загадочного лица.

Что до Кармель, она добралась до сектора погрузки и улетела на первом же корабле, чтобы никогда не увидеть Титан снова.

Она распечатала кокон. Поморгала, привыкая к слепящему электричеству. Выпрямила спину. Голова болит, рот наполнен слюной. В остальном машина позаботилась о ее телесных нуждах, естественных отправлениях. Кармель страшно хотела есть. Голодна, как стрига. Голодна, как человек. Она выпрыгнула из кокона. Икры дрожали. На Кармель давила сила притяжения. Она вспомнила, куда прилетела. Земля. Центральная станция.

Еле переставляя ноги, она покинула сектор коконов, нашла бар и жадно проглотила двойной бургер: красное мясо, пережаренная картошка, крахмал, соль, жиры. Стриги едят мясо, их голод – совсем другого, не физического свойства.

Поневоле Кармель опять вспомнила о Марсе, о том, почему прилетела сюда, и неожиданно ее накрыло с головой ужасающее одиночество – будто космический ветер, хладный и сирый, дул между звездами.

Космопорт, эта Центральная станция, казался Кармель лоном, ну или тюрьмой; так или иначе, отсюда нужно бежать. Вытерев разводы кетчупа и горчицы и скомкав дешевую бумажную салфетку в шарик, она встала, зашагала, сбиваясь на бег, к гигантским лифтам и спустилась на уровень поверхности.

Открылись двери. Ворвался внутрь, сражаясь с системой внутренних кондиционеров, горячий воздух. Кармель почувствовала на губах влагу, слизнула ее. Прошла через двери и наконец обнаружила себя снаружи.

Палило средиземноморское солнце, его свет падал словно бы стеклянными пластинами, оно заливало мир, четче очерчивало контуры предметов и людей, даровало нимбы, упраздняло тени. Кармель моргнула, на ее глазах нарос тонкий прозрачный слой, фильтрующий излучение и защищающий хрусталик от света. Она моргнула еще раз, чихнула. Реакция организма ее удивила, мгновение Кармель колебалась, а потом рассмеялась внезапным, редким, естественным смехом.

На нее глазели, но ей было все равно. Она перешла через дорогу и будто попала в другой мир: перед ней лежал как на блюде старый район с его нищими жилищами, а космопорт за спиной отступал в ничтожность. Здесь живут люди – как на Титане, Марсе, астероидах, разве что купол над головой здесь выше и обнимает всю планету. В куполах, думала Кармель, есть что-то уютное. Как и в любых барьерах. Космопорт – оскорбление уюта.

Она шла по старой, очень милой пешеходной улочке.

Увидела надпись: «Неве-Шанаан». Благодаря высившимся с обеих сторон старым зданиям – внизу магазины, выше квартиры – здесь властвовала тень. Кармель миновала стариков, которые играли на улице в нарды и *бао*, курили кальяны со сладким запахом, пили кофе. Миновала лавку, в которой грудами лежали арбузы, апельсины и *нарафика*, маленький сладкий фрукт с островов на юге Тихого океана; его еще называют малайским яблоком и Syzygium Richii. Миновала обувной, но сначала все-таки разрешила себе остановиться, окинуть взглядом витрину, примерить туфли, которые особенно ей понравились.

Кармель не знала, где искать этого человека, но чуяла, что он близко. Не знала, что именно скажет, как объяснит, зачем летела сюда так долго, – она и сама этого не понимала.

Она повстречала его в Тунъюне.

– Привет! – Крик испугал ее, неожиданный и громкий. Она обернулась, прикрыла глаза и увидела марсианку, Магдалену, машущую рукой из двери заведения с вывеской «У Мамы Джонс».

Магдалена подошла к Кармель: добрая самодостаточная женщина, она излучала тепло, как боеголовка или как солнце.

– Вы не сказали, как вас зовут, – тон был почти обвиняющий.

– Я Кармель, – ответила Кармель, и женщина просияла:

– Какое красивое имя!

– Спасибо. – Кармель было неловко. Рядом с нормальными людьми она ощущала себя не в своей тарелке. Вечное чувство: они должны увидеть меня такой, какая я есть, тем, чем я стала. Вечная боязнь: меня раскусят. Но Магдалена уже тянула ее за собой, как будто Кармель – это дрейфующий в космосе булыжник, захваченный гравитационным полем планеты. Не успев опомниться, та прошла в дверь и оказалась внутри шалмана.

Полумрак и прохлада; маленькое, скудно обставленное помещение. Пыльные бутылки на стенных полках. Магдалена У притащила Кармель стул, уселась напротив. Из-за стойки явилась третья женщина, улыбаясь, вытирая руки полотенцем.

– Мириам, – представила Магдалена. – Это Кармель.

– Рада знакомству, – откликнулась женщина. Кармель кивнула:

– Взаимно…

Она сама не понимала, почему ей нравится эта маленькая плотная женщина.

– Что вам предложить? – спросила Мириам.

– Выпьем лимонада, – предложила Магдалена. – Сегодня жарко.

– Да. – Мириам зашла за стойку и вернулась с запотевшим от холода стеклянным кувшином. Поставила на стол три стакана и

села рядом, присоединяясь.

– Что привело вас на Землю, Кармель? – спросила она. – Мне нравится ваша прическа.

Дреды Кармель медленно вились вокруг головы, как одурманенные зноем змеи.

– Спасибо. Я… я надеялась найти здесь одного знакомого.

– Здесь? – переспросила Мириам. – На Центральной? Или… – Она усмехнулась. – Обычно люди проходят мимо. А вы?..

– Нет. То есть – да. Я не знаю.

Кармель отпила лимонад, чувствуя, что ее разоблачили. Тут в шалман кто-то вошел: высокий спокойный мужчина обогнул столик, положил руку на плечо Мириам – как близкий, как тот, кто любит, – и та, сжав руку, сказала:

– Борис.

Услышав имя, Кармель поняла, что у нее дрожат руки, и с преувеличенной осторожностью опустила стакан. Она уставилась в стол.

– Привет, Магда, – сказал Борис.

Марсианка кивнула:

– Братец, – тепло в ее голосе, – я хочу познакомить тебя с подругой. Ка…

– Кармель, – перебил Борис. Потрясенный. Кармель наконец подняла голову. Ее волосы разволновались, окружив лицо темным нимбом.

– Борис, – сказала она.

Он был высок и строен, ставший его частью марсианский ауг мягко пульсировал за ухом.

– Кармель, что ты тут *делаешь*?

Теперь все смотрели на нее. Магдалена, и Мириам, и Борис; спектр эмоций – забота, подозрение, недоверие, страх, смятение; их ноды активизировались. Магдалена спросила:

– Борис, ты знаешь эту девушку? – И Борис ответил твердо, и каждое слово резало Кармель по живому:

– Это не девушка. Это стрига.

С Борисом Ахароном Чонгом она познакомилась через два месяца после возвращения в Тунъюнь.

Тунъюнь-Сити, Марс: плотный узор грязных улиц под куполом, основная часть города – под землей, уровень под уровнем, последний упирается в Темное море, оно же океан Утешения: *Солвота блонг Дак* или *Солвота блонг Доти*. Кармель жила во вшивом хостеле на Уровне Пять, в темном обширном скопище пещер и туннелей: денег здесь просили мало, вопросов задавали того меньше. Она выбиралась на поверхность, на авеню

Джулиуса Ньерере пила милкшейк в тени и смотрела, как трамваи бегут мимо ржавого от старости роботника, просившего милостыню в виде запчастей, – таких, как он, на Марсе пруд пруди.

Марс не оправдал ее ожиданий. Она боялась покинуть город, за пределами Тунъюня и его космического лифта планета оставалась дикорастущей: красносоветские, новоизраильские, китайские сети туннелей, изолированные фермы и кибуцы, слишком маленькие, чтобы не заметить стригу. Она оставалась в городе, пряталась в толпе, питалась изредка, рискуя жизнью, хотя на нижних уровнях люди исчезали часто, и она была не единственной, кто охотился на тени…

Просто, думала она, у меня ничего не получается. Как было бы хорошо, выбери безымянная шамбло на борту «Захудалого Спасителя» кого-то другого – все равно кого. Она, Кармель, всего лишь хотела сбежать из дома. Посмотреть на другие миры. А вместо этого заболела, не успев сойти с корабля. Вылечиться невозможно, от такого недуга избавляет только смерть.

За соседним столиком мужчина пил кокосовый сок; он будто притягивал взгляд Кармель, и чем дальше, тем чаще. Он пришел один: высокий, бледный, с аугом, выращенным в лабе марсианским паразитом. Кармель только и смотрела что на незнакомца. Он повернул голову, увидел, что она не сводит с него глаз, улыбнулся – еле заметно, тепло, давая понять, что они равны. Не поднялся, не подошел. Она – тоже. Но когда он расплатился и стал уходить, она сделала то же самое – и пошла за ним по улицам Тунъюня: авеню Ньерере, Хо Ши Мина, Манделы, менее известные переулки, неловко сводившие забытых правителей и вождей запылившейся истории. Тот, за кем она шла, жил в многоквартирном кооперативе, обычном для Тунъюня, где жилье дорого. Она видела, как мужчина вошел в дом, и последовала за ним; ее коварная внутренняя сеть без труда обманула убогую систему безопасности. Поднявшись за мужчиной на четвертый этаж, Кармель вскрыла замок и попала в его квартиру.

Он обернулся. Она отлично помнила этот момент. Он обернулся, посмотрел на нее спокойно и с любопытством. Ничего не сказал. Не прогнал, и во взгляде его читалась жалость, и это было хуже всего. Тогда она стриглась коротко, никаких дредов. Он тихо сказал:

– Шамбло…

Кармель приблизилась. Он не отступил. Ее сознание, ее нод, ее чувства устремились к нему. Голод распирал ее так сильно, что, казалось, волокна вот-вот червями полезут из кожи, корчась в

предвкушении пиршества. Мужчина не сопротивлялся. Она погрузила зубы в его шею, готовясь насытиться, и…

Какая-то гниль, но не гадкая; тьма, но лишенная формы. Кармель не понимала. Она не смогла взломать его сознание, эту запертую тюрьму, окруженную инопланетной материей, и – никакой допаминовой реакции, никакого потока бесценной инфы; словно кусаешь картон, а не человека.

Мужчина почти нежно отстранил ее от себя. Взял за руки. Она уставилась на него, сбитая с толку, трясущаяся от голода. На шее мужчины пульсировал марсианский ауг.

– У меня уже есть один паразит, – сказал он так, как если бы извинялся.

– Ты ее знаешь, – констатировала Мириам. Борис отвел глаза. Кармель смотрела то на одну женщину, то на другую – испуганно и злобно. – Ты мне не говорил… – Мириам явно испытывала боль.

– У меня есть прошлое, – сказал Борис. Почти со злостью, подумала Кармель. – Как и у всех.

– Но твое прошлое прилетело за тобой сюда, – парировала Мириам, глядя на Кармель: – Посмотри на бедную девочку. Она вся дрожит!

– Шамбло? – Магдалена У пробуравила глазами Кармель, перевела взгляд на Бориса. – Как ты мог?.. – Увидев, что Мириам встает, она в ужасе добавила: – Нет! Не подходи к ней, она может…

– Магда, это болезнь, – произнес Борис без эмоций. – Это не ее вина.

– Нет, – сказала Магдалена, – нет… – Она покачала головой и встала так резко, что стул глухо упал на пол. – Я не могу. Ты должен…

– Тогда иди, – кивнула Мириам. – Но только…

Женщины переглянулись. Кармель не поняла этих взглядов. Затем Магдалена ушла.

– Она была ко мне добра, – сказала Кармель. Мириам положила руку ей на лоб. Тепло ладони успокаивало. Нод Мириам распахнут, Кармель может проглотить его в один момент…

– Как ты мог? – не унималась Мириам. – Она же еще девочка!

В ту первую ночь они легли в постель вместе. Очень странно: ты с кем-то так близко, физически, – и не можешь залезть в его разум, расшарить знание о том, кто ты и что ты. В маленькой квартирке в Тунъюне, на узкой кровати Бориса, они любили друг друга.

Кармель вынуждена была узнавать его снаружи, собирать, как мозаику, намеки и обрывки, то, что он говорил, и то, о чем молчал. Она не могла его прочесть, между ними всегда вставал ауг. Он сказал, что он врач. Раньше работал в родильных клиниках, специализировался на дизайне потомства, но больше этим не занимается. Родом с Земли. Из региона Ближний Восток (восток относительно чего? ближний к чему?), из места под названием Центральная станция. Борис был для Кармель экзотикой, как и, видимо, она для него; она изучала его старым способом – пальцами, языком, на вкус и по запаху. Они исследовали один другого, картографировали местность. Но утолить ее голод он не мог.

И вот он сидит напротив. Его пальцы на ее подбородке, он приподнимает ее голову.

– Что мне с тобой делать, Кармель?

Он раздражен. Он снисходителен. Она молча смотрела на него, на Мириам, эту маленькую плотную женщину, хозяйку шалмана, видела силовые линии привязанности, их с Борисом общую историю. В ней проснулась ревность.

– Зачем ты *здесь*?

Удивление.

– Оставь ее. – Мириам опекала ее почти как мать. Кармель хотелось зашипеть на манер комической стриги из «Шамбло», классической ленты студии «Фобос»: Элвис Мандела играл там бесстрашного охотника на стриг, который влюбляется в плененного паразита. «Шамбло», несколько сиквелов, вбоквелов и римейков – все они заканчивались одинаково.

Стрига должна умереть.

«Почему?» – спрашивает шамбло в предпоследней сцене. По невероятному сюжету Элвис Мандела охотится на шамбло, пленяет ее, опьяняется ею, бежит от группы молчаливых убийц (под началом Ширкана Гудбая, вечного злодея в картинах «Фобоса»), находит убежище в ноде церкви Робота, снова бежит, сталкивается со стаей марсианских Перерожденных, те убикуют его в виртуалье древнего Марса-Каким-Он-Не-Был, где и разворачивается сцена.

Марс-Каким-Он-Не-Был. Древняя планета каналов и влажных джунглей под властью Императора Времени; конструкт веры Перерожденных, реализованный Иными, изощренная цифровая вселенная, считают некоторые; реальность столь мощная, что наш мир – лишь тень ее, говорят Перерожденные. В этой предпоследней сцене на Большом Канале Элвис Мандела держит

шамбло в объятиях, и они смотрят на умирающее солнце. «Почему?» – спрашивает шамбло.

Элвис Мандела вынимает острую катану из ножен. Гладит шамбло по голове, ласкает нодальные волокна ее волос. «Потому что я должен», – говорит он.

Кармель знала: их связь обречена. Борис очаровывался ею. Его возбуждала ее инаковость. И ауг Бориса каким-то образом его защищал: проникнуть за инопланетный буфер ее нодальная опухоль при всем своем коварстве не могла. Борис хотел помочь Кармель. Хотел ее переделать. Хотел ее *изучить*. Он отлично сознавал свою слабость, знал, что его к ней влечет, что он не избежал человеческого соблазна любить стригу – то, что могло его искалечить.

Роман продлился недолго. Три или четыре месяца, всегда в его квартире. Кармель боялась выходить, Борис занимался с ней любовью, брал у нее кровь, делал анализы – до тех пор, пока сам не признал, что играть во врача и пациента – неправильно, неэтично, сволочизм, нельзя.

Он ее не бросил. Не предал. Это она оставила его – потому что должна была, потому что так нельзя и потому что ей хотелось есть.

Она возвратилась на Уровень Пять, к охоте в туннелях. Иногда ей даже попадались другие стриги – однако что-то отталкивало стригу от себе подобных, то ли баг, то ли фича, благодаря которым они не охотились друг на друга и всегда оставались одни.

Почему она полетела на Землю? Зачем отправилась в еще одно космопутешествие на борту корабля, где ее могли разоблачить, прошла через сетевую верификацию систем старой Земли и очутилась в земле чужой, откуда некогда пришел Борис? Она знала, что он улетел домой. Она следила за ним, с перерывами, через Разговор. Она знала, что он покинул Тунъюнь, и позднее слышала, что он вернулся на родину.

Но что такое родина? Что это для нее – астероид, на котором она родилась? Длинный дом, множество родственников, шахтерские корабли-одиночки, бесконечный повтор старых серий «Цепей сборки»?

– Может, я просто хотела увидеть Землю, – сказала она. – На этой планете я никого больше не знаю.

– Как тебе удалось сюда *пробраться*? – поинтересовался он. – Иммиграционные службы должны были тебя распознать и арестовать!

– Я купила личный тэг, стала новым человеком. У брюхонога по имени Шемеш – в Тунъюне.

Борис встал. Начал ходить туда-сюда. На его стул села Мириам. Посмотрела на Кармель.

– Так ты… шамбло? – спросила она. – Я никогда не видела…

– Мы не отсюда, – сказала Кармель. Поежилась. Мириам смотрела сразу и приветливо, и так, что хоть под землю от стыда провались. – Мы – обитатели космических трасс. – Реплика из фильма с Элвисом Манделой. Самой смешно.

– Ей нельзя здесь оставаться, – встрял Борис. Ауг будто дышал на его шее. В тот миг Кармель его возненавидела. Возненавидела *их*. Без марсианского нароста Бориса не было. Они едины, это одно существо. Они Соединены.

Мириам промолчала. Просто взглянула на Бориса. И тот обернулся. Ни одного слова между ними двумя. Никаких потоков данных. Один лишь взгляд – насыщеннее любой шифровки.

– Она опасна, – опять Борис. Почти признал поражение.

– Есть разные пути познания, – возразила Мириам. – Говорят, что Земля – Дом Человека, но это не вся правда. Земля – Дом Женщины, лоно человечества. Здесь, Борис, есть древние, странные силы…

– Например? – Он был резок, даже жесток. – Бог? Вечно этот твой Бог!

– Тебе нужна вера, – сказала Мириам мягко. – Даже просто быть живым – трудно. Тебе нужно чуточку веры.

Борис помотал головой. Но Мириам уже все ему сказала. Она обернулась к Кармель с безмолвным вопросом в глазах.

Ты хотела бы остаться?

Кармель не знала, что сказать.

Поэт Басё, который, по слухам, встретил шамбло перед алтарем Огко у горы Олимп и полюбил ее, никогда и никому не рассказывал об этом романе. Как он окончился? Так же, как все фильмы франшизы студии «Фобос»? Или по-другому, взаимной любовью, признанием того, что стрига – тоже хищник, как и человек? Сбежал ли Басё – или мятущаяся душа погнала его в другие края, в путь, не имевший цели, кроме самого пути?

Мы не знаем – и не можем знать. Но есть Дом Женщины, Земля Расцвета, и есть разные пути познания и понимания, и великие загадки, с которыми мы еще столкнемся. Что до Басё, мы можем строить догадки единственно по его последнему стихотворению, пусть оно и не опубликовано. Вот этому:

Самбэлу.

Таэм ю савэ лафэм хэм, хэми килим ю.
Самбелу. Аво! Самбэлу,
Самбэлу блонг ми. Ми лафэм ю.
Ми луклук ю. Ю килим ми,
Ми килим ю. Ю лафэм ми, ми лафэм ю.
Самбэлу. Самбэлу.
Самбэлу.

Перевод приблизительно таков: «Шамбло./Когда ты ее любишь, она делает тебе больно. Шамбло. О! Шамбло,/моя шамбло. Я люблю тебя, я смотрю на тебя. Ты делаешь больно мне./Я делаю больно тебе. Ты любишь меня, и я люблю тебя. Шамбло. Шамбло./Шамбло».

– Да, – сказала Кармель.

Шесть: Волокна

– Реальность, – сказал робопоп, – штука тонкая и хрупкая.

Брат Р. Патчедел взирал на свою маленькую паству. Зал ожидания Уровня Три Центральной станции: тот самый нод церкви Робота. Истинной вере следуют сегодня единицы. Иногда Р. Патчеделу казалось, что из верующих остались одни роботы. Иные – странные бестелесные цифровые интеллекты – бежали от веры в миры чистой математики, в бесконечность виртуальных возможностей. В то же время люди нуждаются в вере, порой алчут ее, однако редко понимают, какой именно путь избрать, и конкуренция очень жесткая: иудаизм против католичества, буддизм против элронизма, марсианские Перерожденные против ислама.

А церковь Робота строга, роботы видят себя металлическими пастырями, странным звеном между человеческой телесностью и трансцендентностью Иных. Брат Р. Патчедел замогильно кашлянул и возобновил проповедь.

– Реальность… – он запнулся. Паства ждала продолжения. Госпожа Чонг-старшая на задней скамье, рядом – ее подруга Эсфирь: адепты религиозного шопинга, они, как гурманы, смаковали все верования понемножку, подстилая по мере приближения старости все больше соломки. Группа сердитых бытовых приборов смотрела проповедь через виртуалье: кофеварки, холодильные установки, пара туалетов, – приборы нуждались в водительстве роботов больше кого бы то ни было, но отличались своенравием, злостью, часто спорили по пустякам с владельцами и друг с дружкой. Роботов никогда не было много. Гуманоидные, неуклюжие, они не принадлежат ни реалу, ни ирреалу, и уже больше ста лет никто не производит новых. Чтобы свести концы с концами, брат Р. Патчедел подрабатывал моэлем у евреев Центральной. По крайней мере, евреи его ценили. Он был хорошим моэлем, дипломированным, деликатную операцию по удалению крайней плоти проводил мастерски, никто не жаловался. В молодости брат Р. Патчедел подумывал об обращении. Идея стать роботом-иудеем не столь уж абсурдна, на Марсе жил знаменитый рабби – один из первых роботов в мире. Только сделаться иудеем – непросто. Сама эта вера расхолаживает чужаков.

– Консенсусная реальность подобна ткани, – начал он снова. Паства слушала, в маленькой темной церкви слышалось сухое поскрипывание, пахло металлом и сосновой живицей. – Она состоит из множества индивидуальных волокон, и каждая из

них – сама по себе реальность, мир, зашифрованный в себе. У всякого из нас – собственная реальность: мир, сотворенный нашими чувствами и сознаниями. Поэтому гобелен консенсусной реальности есть работа коллектива. Он требует достаточного числа нас, чтобы договориться: реальность – *такова*. Чтобы, если хотите, определить форму гобелена.

Брату Р. Патчеделу добавление нравилось. «Если хотите». Оно придавало аргументам некоторый вес.

– Если хотите, – повторил он, смакуя слова. – Чтобы реальность существовала, мы все должны этого хотеть. Мы мечтаем…

Он вновь замешкался. Роботы не мечтают в прямом смысле слова. Да и проповедь явно становилась буддийской. Р. Патчедел часто размышлял о реинкарнации. Многие цифровые – практикующие буддисты. Цифровое существо, рожденное в Нерестилище частью специализированного Я-контура, отвечавшего за оживление кофеварки, в следующем цикле может переродиться разумом, рассчитывающим рассеивание света в далеких туманностях, или подводным шаттлом, циркулирующим между людскими городами в океане, а то и выйти за пределы, сделаться истинным Иным, бесплотным, постоянно мутирующим и меняющимся, ищущим истину, а значит, и красоту в ирреале.

Но роботы меняются редко, думал брат Р. Патчедел не без грусти. Как и люди, они просто все больше становятся собой.

– Мы мечтаем о консенсусе реальности, – он снова кашлянул. У Р. Патчедела имелся набор тщательно отобранных кашлей. – Вообразите: мир есть огромная сеть, а все живые существа – ноды, соединенные тонкими волокнами. Без сети все мы – одинокие, изолированные ноды, точечки света в обширной межгалактической тьме. Путь Робота учит тому, как нам Соединиться со всеми вещами. Это тяжкий путь. Часто одинокий. Жизнь и вечножизнь обе творят реальность. Позвольте мне вас направить…

Брат Р. Патчедел склонил голову, и паства повторила это движение: и люди, и следившие за службой цифровые.

– Творец наш в поле абсолютного нуля, да святятся девять миллиардов твоих имен…

Паства бормотала вслед за ним. Затем все выстроились в ряд, дабы приобщиться святых тайн. Цифровую облатку составляли перешифованные протоколы христолёта. Люди клали ее на язык, она медленно растворялась, расходилась по кровотоку и достигала органическо-нодального интерфейса. Цифровые инсталлировали ее напрямую. На краткий миг маленькая паства нода церкви Робота познала истинное Соединение, образовала

единый Я-контур, достигла консенсусной реальности; пусть и ненадолго.

Р. Патчедел был доволен: *брит* прошел отлично. Обрезанию подвергся младший сын Чонгов, Левий. Р. Патчедел знал несколько поколений Чонгов, начиная с Чжуна Вэйвэя, основателя семейства, и заканчивая всеми кузенами, племянниками, племянницами и тетками, расселившимися вокруг Центральной. Дедушка Влад сидел на почетном месте *сандака*, крестного отца. Старик держал ребенка на руках, но лицо его было пусто и безвидно. Влада Чонга сокрушила болезнь памяти. Р. Патчедел за него беспокоился.

Ибо наступило время радоваться. Робот с осторожностью отделил крайнюю плоть от пениса младенца особым ножом, *измелем*, и совершил первое благословение. Затем он перешел к *приа* – приоткрыл головку члена младенца, отделив, опять же с помощью ножа, внутренний препуциальный эпителий. Гордый отец совершил второе и третье благословения. На глазах у внимательной аудитории маленькой синагоги робот приступил к *мецица бэ-пе*, высасывая кровь из ранки, пока та не свернулась.

Ребенок плакал. Аккуратно наливая вино для благословения в чашу в правой руке, робот провозгласил имя младенца – Левий Чонг – и имя его отца, Эльада. Робот отпил вина. Теперь, согласно древним законам, ребенок стал евреем. Наконец, брат Р. Патчедел погрузил в чашу металлический палец и поднес его к губам младенца. Мальчик пососал палец и перестал кричать. Все зааплодировали. Древняя госпожа Чонг-старшая – киборгированная, но чувствительная – плакала горючими слезами.

Церемония завершилась, младенца обступила восторженная родня, толпа переместилась в соседнее помещение, где был накрыт завтрак. Печенье и хлеб, шакшука – яичница на тонком слое томленных на слабом огне помидоров и стручкового перца, – кофе из самовара, сыры в ассортименте, бурекасы с брынзой, картошкой и грибами, омлеты, варенье: голодные Чонги набросились на столы, будто недоедали годами. Робот ходил между родственниками и друзьями, пожимал руки, болтал о том о сем, не забывая время от времени отхлебывать из чашки черный кофе.

На миг Р. Патчедел замер, увидев вроде бы знакомого мужчину. Лицо Чонга, но кто это такой? Мужчина был спокоен, ощущал себя в толпе непринужденно – и все-таки, казалось, чего-то стеснялся, точно сдерживался. Он стоял рядом с людьми, которых робопоп знал: Мама Джонс – и ее сынок, Кранки.

– Мириам, – обратился Р. Патчедел к женщине, – как всегда, рад тебя видеть.

– Взаимно, Робот Патчедел, – она улыбнулась.

Они были знакомы целую вечность. Робот опустил голову. Мальчишка смотрел на него хакнутыми глазами, в уголках губ играла озорная улыбка.

– Привет, Кранки, – сказал Р. Патчедел. Рядом с Кранки он почему-то ощущал себя неловко. Мальчик выбивал его из колеи.

– Привет, железный дровосек, – ответил Кранки.

Мириам, шокированно:

– Кранки!

– Все в порядке, – успокоил ее робот. Он заметил, что мужчина из Чонгов подле Мириам не может скрыть ухмылки. – Как дела, Кранки? Ты меня помнишь?

Конечно же, робопоп был моэлем и на *брите* Кранки. Мальчик сказал:

– Вчера мы с Исмаилом ходили на пляж. Поймали рыбу! – Он развел руки. – Вот *такую*!

Мириам положила руку Кранки на затылок. Не успел робопоп открыть рот, как мальчик воскликнул:

– Давайте я покажу!

И доверительно протянул маленькую руку. Робопоп машинально ответил тем же жестом…

Указательный палец мальчика легко коснулся металлической ладони.

Что есть реальность?

Шепот возникал прямо в мозгу робота. Миллиарды циклов, бессчетные миллионы ветвей квантового бинарного дерева, смещение и смешение, компактная аристократическая сеть, похожая на планету или человеческий мозг, миллиарды разрозненных элементов образуют единый драгоценный Я-контур, иллюзию существования.

Что есть реальность?

Слова сами собой шептались в старом робомозге и переводили себя на дюжину языков, главные среди них – иврит и астероид-пиджин: *Ма амити? Ванем иа и тру?*

В сознании робота зароились образы, и в этой высокоуровневой инфобойне прорезалась вдруг картинка: мальчик, Кранки, и его вроде бы близнец с зелеными глазами от «Боуз», а не с синими от «Армани». Два ребенка на пляже Яффы идут по воде, ловят рыбу маленькими руками, погружая их в прозрачную синь Средиземного моря…

А оно взрывается звездами, кружащимися галактиками,

планетами, что вращаются вокруг желтых солнц, вокруг злобных глаз, чернокорпусные космолеты пылинками парят между планет, картинка фокусируется, смещается, кружит в космосе за орбитой Титана, беззвучные дроны-убийцы сражаются в Галилейских Республиках, разумные мины ложатся на орбиту Каллисто, перескок в космическое запределье запределья, слышно пение пауков, засевающих облако Оорта новыми нодами, на Мире Дракона, ледяном спутнике близ Плутона, миллионы драконовых тел движутся по туннелям неисповедимыми кругами, оледенелая луна вся – гигантский обширный термитник…

Ванем иа и тру?

На Марсе, в Тунъюнь-Сити, у деревянного алтаря под великим куполом поэт Басё переводит Шекспира на пиджин:

Блонг стап о но блонг стап
Хеми ван гудфала квесджен иа

А где-то в космосе, вдали от летящего Марса и лун-близнецов, искрящихся искусственными огнями, где-то в *солвота блонг спес*, танцующие образы, *солвота блонг вори*, море тревоги, и зонды, и *бунаро* злодейской фортуны…

По Луне бесшумно ползут гигантские пауки-терраформеры, тускло светится серебристый металл, на нем стоят два мальчика без шлемов, смеются над шуткой, понятной только им двоим, и жестикулируют:

Ванем иа и рил?

Р. Патчедела эта инфобуря застигла врасплох. Он застыл, глядя на мальчика; постепенно буря унялась.

– Брат Патчедел? – спросила Мириам Джонс. – С вами все в порядке?

Я-контур с тэгом Р. Патчедел пришел в себя, или онлайн, или ожил.

– Я робот, – сказал он. – Я болею редко.

Мама Джонс вежливо улыбнулась. Мужчина рядом с ней сказал:

– Не знаю, помните ли вы меня, брат.

Протянул руку.

– Борис, – он неожиданно смутился. – Борис Чонг.

Р. Патчедел посмотрел на него.

– *Борис* Чонг? – изумился он. Блок памяти выдал четкие изображения: застенчивый мальчик, высокий, неуклюжий, улыбка, вечная улыбка, спокойный ребенок, прежде младенец, Р. Патчедел был моэлем на его брите тоже. – Но ты же улетел, это было…

Робот умолк; он мог бы продолжить – день, час, минута, – если бы хотел. Почему он не узнал Бориса? Но Борис улетел мальчиком, а вернулся мужчиной, Верхние Верха его изменили, это робот видел ясно.

Конечно, Р. Патчедел и сам бывал в космосе. Однажды, столетие назад, он отправился в паломничество, в *хадж* робота, на Марс, в Тунъюнь-Сити, в зал ожидания Третьего Уровня глубоко под марсианскими песками, туда, где бурлит крупнейший из базаров всех верований, чтобы встретиться с самим Робо-Папой в Ватикане роботов. То было славное приключение! Сотни роботов – и бывшие боевые дроны, и беженцы со свалок металлолома – сошлись вместе, слетелись со всех обитаемых лун и планет, из Полипорта на Титане и кибуцей марсианских пустынь, Лунопорта и Москвы, Новейшего Дели и колец Бахаи на орбите Сатурна. Был там и робот с Центральной станции. *Хаджи* Р. Патчедел, рукоположенный в великое священство телесного и цифрового.

На той встрече часть роботов решила лететь дальше. Сопровождать корабли Исхода в их медленном путешествии из Солнечной системы – на пути без возврата. Часть решила остаться – и создавать в недрах Марса новое поколение, творить детей…

Дети!

Возможно, это все-таки знак, подумал Р. Патчедел, пока цифровая волна сходила на нет – и блекло видение двух мальчиков с Центральной, Кранки и его друга, на Луне.

– Брат?

Человеческий голос привел робота в чувство.

– Борис Чонг, – изумленно сказал он. – Где ты пропадал столько лет?

Тот пожал плечами. Его рука, заметил робот, касалась руки Мириам – кончиками пальцев. Р. Патчедел помнил их вместе: мальчик и девочка. От любви люди светятся, будто они – металлические волокна, нагреваемые электрическим током.

Человек ответил:

– Я был на Марсе, в Поясе, я… Недавно вернулся. Мой отец…

Да, хотел сказать Р. Патчедел. Влад Чонг сидел в той же комнате, пустыми глазами разглядывая пустоту. Иногда люди страдают, теряя память мало-помалу, но у Влада, размышлял робот, все наоборот. Его сознание буквально кишит воспоминаниями, четкими и неуничтожимыми, как алмазы; воспоминаниями, которые копятся со времен Вэйвэя. Владимир Чонг лишился зрения, потому что кошмарным образом обратил взгляд вовнутрь.

Робот кивнул, пожал Борису руку, чуть дотронулся до плеча Мириам. Кранки убежал играть с другими детьми. Р. Патчедел помнил, что Борис некогда работал в родильной клинике. Каких детей они там делали из жульнически хакнутых геномов и украденного кода?

Робот ощущал – если о роботе можно сказать «ощущал», подумал он, – усталость. Его тело работало не с оптимальной эффективностью. Тело древнее, все в заплатах, доставать старые запчасти сложно, никто не собирает роботов уже десятилетиями. Р. Патчеделу хотелось подключиться к току, вот как люди втыкают в головы провода в эмпориях «Луи У». Люди нашли способ стимулировать центры удовольствия слабым током. Временами Р. Патчедел мечтал о Теле, об ощущениях. Люди тащились от ощущений.

– Брат?

Кофе в чашке остыл. Р. Патчедел оставил ее на столе и пошел налить еще одну. Кофе есть энергия, робот способен превращать еду и питье в энергию столь же эффективно, как любой человек. Но способен ли он получать от этого *удовольствие*?

Удовольствие – сложная и озадачивающая концепция. Р. Патчедел решил, что можно сделать ее темой проповеди на следующей неделе.

– Брат?

Его звали снова и снова, и на этот раз Р. Патчедел зарегистрировал голос. Обернулся. Перед ним стояли, взявшись за руки, двое приветливых мужчин.

– Ян, – сказал Р. Патчедел. – Юссу!

Еще одна милая пара, подумал он. Ян – из Чонгов; Юссу – из Джонсов с Центральной.

– Все официально? – спросил Р. Патчедел.

Мужчины засияли пуще прежнего.

– Да, – сказал Юссу.

– Мы поссорились… – произнес Ян застенчиво и гордо. Они с Борисом так похожи, решил Р. Патчедел.

– Он хотел сделать все сегодня вечером… – это Юссу.

– Я уже все подготовил. Мы были в Большом зале…

– Я был не готов, – перебил Юссу. – Я думал, что я не готов.

– Он ушел, мы не разговаривали месяц. Но…

– Я по нему скучал.

Они сказали это одновременно и засмеялись.

– *Мазал тов*! – пожелал робот. Пожал обоим руки. Столько любви, что у молодых, что у стариков, в этой комнате. Видимо, подумал Р. Патчедел, снова весна. А он чуть было ее не проморгал. Весной люди именно таковы.

– Мы помирились, я не мог спать, я снимал комнату в адаптоцвете, – сказал Юссу.

– Я спал в лабе, – сказал Ян. – Работал не покладая рук.

– Мы снова вместе, и…

– Мазал тов, – повторил робот. Ян ответил:

– Брат. Мы хотим кое о чем тебя попросить.

– К вашим услугам, – сказал Р. Патчедел. Он не умел врать.

– Пожени нас, – сказал Юссу.

Оба смотрели на него просяще. Робот перевел взгляд с одного на другого:

– Почту за честь.

Он проводил обряды бракосочетания и раньше. Свадьбы, и обрезания, и похороны. Робот, думал Р. Патчедел, робот более других нуждается в *цели*. Пожимать руки всем вокруг, чтобы металл соприкасался с плотью.

– Спасибо, брат!

Собрались родственники – поздравить молодую пару.

– Брат Патчедел… – Еще один голос. На него наплывала госпожа Чонг-старшая. Их взгляды пересеклись. Она – машина больше чем наполовину. Госпожа Чонг улыбнулась:

– То, что ты совершишь обряд, для моей семьи – большая честь.

Церемония будет проведена в духе церкви Робота. Центральная – переплетение вер. Иудеи Чонги – смесь китайцев и израильских евреев; род Чоу – католики; Джонсы… Он даже не знал, кто они, хотя часто видел Мириам Джонс у часовни св. Коэна Иных.

– Спасибо, – сказал робот. – Спасибо, что выбор пал на меня.

Способен ли робот чувствовать? Если его уколоть, кровь не потечет. Но *если* робот способен на чувство, тогда Р. Патчедел ощущал… потрясение. Он устал, он ликует… Внезапно комната, полная людей, начинает давить, ему нужно пространство, одиночество, время, чтобы отойти от телесности. Некоторые роботы покинули церковь, вообще отказались от телесности, ушли в цифровой мир, в бесплотность, в царства Иных. Другие улетели на кораблях Исхода, третьи трансформировались, перевоплотились в устройства поскромнее; порой можно встретить древнюю кофемолку, которая некогда была роботом и решила искать просветления в службе другим.

– Брат?

– Извините, госпожа Чонг, – сказал робот. – Мне нужно идти.

Она смотрела на Р. Патчедела; в ее нечеловеческих глазах – понимание. Однажды госпожа Чонг-старшая отбросит остатки человечности и станет искателем вроде него. Он возлагал на

госпожу Чонг надежды, она была самым многообещающим из его новициатов.

Она кивнула – быстро, еле заметно. Робопоп выбрался из комнаты. Он по-прежнему не понимал, что случилось с этим мальчиком, Кранки. Мальчик – не совсем человек, понял он. Возможно, мальчик по какой-то причине полу-Иной; эта загадка поставила Р. Патчедела в тупик.

Робот добрался до лифтов и поднялся на Уровень Четыре, где уже много-много лет снимал крошечную комнатку. Служебные туннели, шкафы с оборудованием, коридоры, уводящие в глубь станции, к бесконечным складам, туда, где так ровно бьется сердце Центральной… Робот ощущал ее пульс в своих шарнирах.

Р. Патчедел открыл дверь в личное пространство: маленький темный чулан, идентичный множеству таких же обиталищ. Здесь он может побыть в одиночестве.

Здесь он дома.

Запершись изнутри, он открыл сознание Разговору, бесконечному потоку болтовни между мирами, и в его разум вновь хлынул неотвеченный вопрос: *Ванем иа и тру?*

Брат Р. Патчедел дрейфовал в космосе, наблюдая через множество нодов множество фидов. В марсианском кибуце родился ребенок, древняя мина покончила с собой взрывом на орбите Ио, на Титане муэдзин призывал верующих на молитву. Космос полон вопросов, жизнь есть фраза, на конце которой – всегда многоточие или вопросительный знак. Невозможно ответить на все вопросы. Можно только верить, что ответы вообще есть.

Чтобы быть роботом, нужна вера, подумал Р. Патчедел.

Чтобы быть человеком – тоже.

Семь: Роботник

Мотлу нужна была вера. Срочно. Как он оказался на Центральной? Мотл огляделся. Тело зудит, рука ржавая, шарниры скрипят при движении. Нужна водка, подзарядиться, и еще масло, чтоб шарниры не ржавели, но главное – нужна религия. Таблетка, чтоб не так сильно болело…

Под навесами он опять видел Исобель. Там было темно и тихо. Они…

Он знал, что она его любит.

Любовь опасна. Любовь – темный наркотик, на который легко подсесть, и очень долго Мотлу в нем отказывали. Парадокс: Мотл состоит из прошлого, но прошлого не имеет. Когда-то у него были имя и работа. Когда-то он был живым.

– Я люблю тебя.

– Я… Я тоже.

Не хватило одного слова. Ее тело прижалось к его телу. Она теплая, она человек. Пахнет рисовым уксусом, соей и чесноком, потным дерматином кокона, духами, названия которых он не знал, феромонами, гормонами и солью. Она подняла глаза, их взгляды встретились.

– Я старый, – сказал он.

– Мне все равно!

Неистово. Она его защищала. Он ощутил странное: собственную уязвимость. Вскинулись древние программы, пытаясь взять ситуацию под контроль. Наводнить его тело супрессивными гормонами, хотя впрыскивать давным-давно было нечего. Он свободен, волен чувствовать что пожелает.

– Я… – Он не знал, что сказать. – Исобель… – Ее имя он прошептал. У нее есть настоящее имя, оно ей принадлежит. – Их либа дих, – сказал он на древнем, давно вышедшем из употребления боевом идише, которому его некогда обучили. Идиш был для него как язык навахо для шифровальщиков другой долгой войны. Мотл уже не помнил, в каких войнах участвовал, он предполагал, что им дали имена, что в исторических записях они рассматриваются почтительно, с датами, в контексте. Он помнил только боль.

Синайская пустыня, зной, мерцает Красное море. Их взвод разбил лагерь в развалинах Шарм-эль-Шейха. Никаких людей, одни роботники, лучшие из лучших, они ждут атаки, которой так и не случилось.

Мотл не помнил, за что они воевали, да и с кем воевали – тоже. У противника имелись полуразумные летуны, хищные создания, беззвучно падавшие с неба и когтями разрывавшие броню. Птицы-джубджубы. Еще роботники видели, как восстает из пучины Левиафан, как сияют на солнце органические оружейные башни, как инфракрасные глазные стебли сканируют горизонт в поисках тепловых сигнатур…

Другой взвод ушел под воду; нападая на Левиафана, бронированные гуманоиды мысленно общались на боевом идише. Они облепили врага, словно мелкие рачки. Ремнями закреплялись на сверкающей плоти. Их снаряды крепились к экзоскелетам. Мотл и остальные наблюдали за взрывом, за медленной гибелью Левиафана: гигантское тело беспомощно билось о воду. От его предсмертного вопля из ушей пошла кровь. Над водой поднялось облако могильных спор Левиафана, понеслось по ветру. Мотл молился о том, чтобы их не послали уничтожать яйца. Споры Левиафана будут зреть в воде, из них родятся новые машины – и продолжат борьбу. Мотл завидовал тем, кто только что подорвал себя. Им хоть умереть позволили по-настоящему…

На развалинах Шарма тихо. Некогда тут располагалась рыбацкая деревушка, потом, во время короткой израильской оккупации, – город Офира. Кто оккупировал его теперь, Мотл не знал. Бедуины держались от города подальше.

В те дни Мотл был элегантной машиной смерти, но наплыв его не миновал. Так они это называли. Наплыв: поток мыслей и эмоций, исходящих из того, кем ты однажды был, – из человека, которого забрали с поля боя и сделали киборгом, из мертвеца, которого потом превратили в роботника. Память мертвого человека, в тебе ее не должно быть, но иногда…

У берега медленно умирает Левиафан. Вдалеке эскадрон джубджубов охотится над береговой линией Аравийского полуострова.

Мотл отдыхал под пальмой. Он удостоверился в том, что оружие – часть его существа – все заряжено, что оно работает, что взрыватель вставлен и готов… но тут случился наплыв, стало трудно думать, и воспоминания…

Пальма, почти такая же, оазис в пустыне, приближается вооруженная охрана, Мотл и прочие лежат в ожидании…

Небо озаряется вспышками, он видит ракеты, что-то врезается в землю неподалеку, фонтан песка, он слышит крики…

Боль прорывается отовсюду и сразу. Воздух заполнился будто бы мошкарой, она ползает по коже, проникает в рот, в нос, в уши,

в прямую кишку, ползает внутри и снаружи, рвет его на части, больно, больно…

Мотл моргает. Он пытается противостоять, внутренние системы (тогда они еще работали) впрыскивают успокаивающее, но этого мало, недостаточно, чтобы унять наплыв…

Он корчится на песке, кричит, но звука нет. На него глядит полная луна. В воздухе – густой запах крови, воняет кишками и мочой. Ему не дадут умереть. Они всюду, они его насилуют, откладывают яйца в кровеносную систему, ползают внутри мозга…

Потом что-то меняется… минуты, или часы, или дни спустя. Он их видит. Он может видеть. Взвод, форма цвета пустыни. Он не знает, на чьей стороне был раньше, на чьей стороне он сейчас.

– У нас тут живой, – говорит один из них.

– Забираем.

Другой ухмыляется. У него в руках… это что, меч? Что-то архаичное… Клинок падает, резко, боль и чувственное восприятие прекращаются.

«Как мне объяснить все это Исобель?» – думает он. Центральная станция, наверху – звезды, серебряный клинок луны. Его руки дрожат. Он идет по Неве-Шанаану мимо шалмана Мамы Джонс, мимо нода церкви Робота, идет в сердце старого автовокзала, в заброшенные туннели, в которых давным-давно пассажиры садились в автобусы – в эпоху, когда автобусам и роботникам нужен был бензин.

Как объяснить *жажду*?

На Синае, во время той давнишней кампании, он дезертировал и отыскал священника. Тот был как Мотл, тоже роботник, но все-таки другой: у священника было нечто, данное ему Богом, утешение вверенной ему религии.

Священник стоял на дюне на окраине разрушенного города. Небо темнело, а священник говорил, проповедуя пустыне.

И он изрек:

– Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек.

И он изрек:

– День тот да будет тьмою; да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет.

– Да омрачит его тьма и тень смертная, – шептал Мотл. – Да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя.

Он ожидающе смотрел на священника, внутри все горело. Священник сказал:

– За то, что не затворил он дверей чрева матери моей и не сокрыл горести от очей моих.

И Мотл вторил:

– Для чего не умер я, выходя из утробы? Отчего не скончался, когда вышел из чрева?

Неотвеченный вопрос роботника, мольба Иова с дюны, Левиафан, умирающий в теплых водах Красного моря.

– Пожалуйста, – сказал Мотл. – Я страдаю.

Священник спустился с дюны. Они были одного роста, но Мотл опустился на колени, чтобы получить благословение. Открыл рот и ощутил металлические пальцы, теплые от солнца, на все еще органическом языке.

– Господь, – провозгласил священник, Мотл сомкнул уста, сглотнул, и крошечная таблетка на языке растворилась в кровотоке.

Христолёт.

Его будто застрелили в упор – и разверзлись небеса.

Центральная осталась за его спиной… На западе – море, пахшее солью и дегтем; запах возвращал наполовину исчезнувшие воспоминания. Мотл шагал по ночному рынку, вдыхая ароматы жасмина, *намбаэйт гато* глубокой прожарки и кебаба на гриле, однако еда его не интересовала.

Исобель могла и не понять. Она еще не умирала – и не перерождалась.

– Теперь бы лежал я и почивал; спал бы, и мне было бы покойно, – прошептал Мотл. Руки тряслись. Жажда гнала дальше. Левая нога лязгала при ходьбе. Мотл привлекал взгляды, однако люди моментально от него отворачивались. Еще один сломанный роботник, очередной попрошайка, что бродит по улицам, ища еды, или запчастей, или того и другого.

Он пришел к туннелям. Сверху – слой мусора, черное кольцо древнего огня, крошащиеся останки автобусных остановок. Вот она, решетка старой вентиляционной шахты. Мотл снял решетку и скользнул внутрь, вниз по ржавой стремянке, в туннели.

На заброшенной остановке стояли трое. Они обступили полыхавший в бочке костер, они не двигались, их серебряная кожа отражала пламя. Мотл подошел ближе; тишину подземной пещеры нарушали только его тяжелые лязгающие шаги.

– Мотл.

– Иезекииль. Самуил. Джедедайя.

Ни движения. Внизу метнулась крыса. Языки пламени

плясали на безразличных стальных лицах. И вновь прошлое…

Он стоял на коленях у кромки воды. Красное море, восход. Солнечные блики на воде и теле Мотла; мир сливался в одно. Вера дается в маленьких таблетках, растворяющихся на языке: плоть Бога, которую дитя человеческое поглотило, словно каннибал. Мотл молился всю ночь, в нем жила *вера*… Бог, созданный и произведенный в иерусалимских лабах, всеобъемлющ, наплыв отошел, потерял значение… Бог сказал: твой промысел есть промысел Божий, ты живешь не бесцельно, ты любим, ты можешь быть орудием, но орудием *нужным*…

Теперь эффект христолёта проходил. Мир еще светился, но не так ярко. Осталась память о том, что Мотл нужен, что его любят, и этого должно хватить…

Песок взорвался, Мотл в полуобороте, оружие на изготовку…

Левиафан умер ночью, его исполинский труп плавает в воде, дрейфуя в сторону Акабы.

Приказ, лаконичные команды на боевом идише, Мотл встает, открывает огонь…

Чудовище, вынырнувшее из песка, – круглая голова блестит от слизи – Vermes Arenae Sinaitici Gigantes, *гигантские песчаные черви Синая, – монстр пожирает Эбенезера, зубы входят в металл как в тесто, – и зарывается обратно в песок.*

Тишина. Роботники рассредоточились по развалинам города, они напряжены и выжидают. Никто ничего не говорит. Длящееся присутствие Бога еще наполняет Мотла, но превыше него – страх, и еще – запахи пролитого хладагента и пороха.

Он не знал, кто первым завез гигантских песчаных червяков на Синай; ими минировали территорию для будущих конфликтов, однако они, в отличие от мин, размножались и процветали. Бедуины охотились на них и делали лекарства из их яда.

– Он здесь!

Песчаный червь взвивается перед Мотлом, на червя прыгает товарищ-роботник Исидор, сверкают лезвия, но если разрезать Sinaiticus Gigans, *он не умирает, он* расщепляется…

В это время сверху – они явно прятались неподалеку в ожидании – пикирует эскадрон джубджубов, красноглазых, с выпущенными когтями, они пахнут свалкой и дерьмом, их вонь мешается с тошнотным сладким смрадом песчаных червей…

Кто-то бросает зажигательную бомбу, та попадает в вожака джубджубов, птица визжит, превращаясь в Феникса…

Это ад, думает Мотл, убегая, палят орудия, ад – место здесь, на земле, особое место, куда Богу нет пути…

Вырывается из песка червь, сбивает Мотла с ног. Тот сквозь

дымку видит Ишмаэля с огнеметом, видит, как сгорает чудовищный червяк, как он пронзительно кричит, бьется о песок, не в силах зарыться в него и спастись. Мотл перекатывается, левая нога окоченела. Еле приподнявшись, он стреляет в подлетающего джубджуба. Вокруг, куда ни глянь, горит Шарм-эль-Шейх, а Мотл поражает снайперским выстрелом мозг птицы и смотрит, как она падает, пылая. Что бы там древние писатели ни думали про ад, думает он, с огнем они угадали.

Тишина в покинутых туннелях автовокзала – покинутых всеми, кроме роботников. Брошенные, подумал Мотл с внезапной яростью. Нищие, бездомные, никчемные, неверные… Верили они только в себя.

Роботники заботились о своих.

Кто еще о них позаботится?

Как он вообще сюда попал? Как он попал на Центральную?

Руки все еще трясутся. Ему нужен ремонт.

Когда закончилась последняя битва, Мотла подлатали, снабдили новейшими программами – и опять послали на фронт, а затем еще раз и еще раз. Всегда шла какая-то последняя битва, какая-то война, кладущая конец всем войнам. Потом очень долго стычек не было, роботники оставались на базе, ждали, хранили веру, потому что иначе и совсем *еретиком* стать недолго, а однажды… никто им даже ничего не *сказал*, просто ворота были открыты, все работавшие на базе люди ушли, а роботники – роботники теперь были никому не нужны.

Спустя какое-то время они поодиночке и по двое стали уходить. Мир за стенами базы был странен, неуютен, даже враждебен, такое не снилось и врагу на поле боя. Мотл перебивался случайными заработками. Поначалу свобода ему нравилась. Он даже отказался от наркотика.

Потом части тела стали портиться…

– Мотл.

Иезекииль. На Центральной он – главный. Теперь он – их капитан.

Роботники жили в Иерусалиме, их влекло туда, как пиявок к вене. Кое-кто сумел вырваться, улетел в Тунъюнь или Лунопорт. Ну а Мотл остался здесь.

Его ударил наплыв: воспоминания, которых не должно быть, о времени, которого никогда не было. Мотлу улыбается женщина с темными волосами, с карандашом за нежным ушком; девочка смеется, тянет пухлые розовые пальчики – подними меня; пахнет свежескошенной травой.

Руки тряслись.

– Мотл.

– Я страдаю, Иезекииль. Я страдаю.

– Говорят, тебя видели с девушкой.

Молчание вокруг огня стало более выразительным. Мотл тоже застыл.

– С девушкой, Мотл? С человеком?

Молчание других сделалось клинком в ножнах.

Мотл думал об Исобель под навесами Центральной. Ее тело излучает тепло, ее маленькая рука касается его лица, и, видимо, его слезный аппарат разладился, наверняка, потому что глаза увлажняются, и он смотрит на Исобель сквозь пленку, сквозь туман.

Он встретил ее на Центральной, на Уровне Три – она работала капитаном в виртуалье Гильдий Ашкелона. Они часто разговаривали, у него тогда была работа, он был уборщиком, медленно двигался по этажам суетливейшего из уровней. Мусора хватало. Хорошая, спокойная работа.

После восьми часов в коконе, в виртуалье, она еле держалась на ногах. Она споткнулась, и он метнулся к ней, не дал упасть. Странное чувство: ее руки, ее кожа на металлической руке; выпрямившись, девушка улыбнулась Мотлу; карие глаза, чуть кривые зубки; улыбнулась без застенчивости или тревоги, так, будто они – старые добрые друзья.

– Простите, – буркнул Мотл, отпуская ее, но она его остановила.

– Стойте!

Он замер и взглянул на нее; девушка ниже его ростом. Такая живая. Она сказала:

– Я вас тут уже видела.

Он не знал, что ответить; он готов был сбежать в любой момент.

– Я не знаю, как вас зовут, – продолжила она.

– Мотл.

– Мотл… – В ее устах его имя звучало очень странно. – Мне нравится. – И затем: – Я – Исобель.

– Я… я знаю.

Темные волосы, бледная кожа. Легкая улыбка. Она была еще молода.

– Откуда?

– Я вас тут уже видел.

Они засмеялись. И вдруг всякая неловкость исчезла. Внезапно оказалось, что нет ничего естественнее, чем болтать о чем-то, с ним такого никогда прежде не было, а точнее, было, наверняка

было, в другой жизни; в другом, потерянном времени.

Его это пугало. Внутренние системы сбоили, отделаться от чувств он не мог. Руки тряслись.

– Я страдаю, Иезекииль, – сказал он. Его раздражал собственный голос.

– Мотл, что ты наделал?

Этот голос, холодный, спокойный. Солдат-одиночек не существует. Военные соблюдают порядок. Иезекииль получал долю с заработка Мотла, с торговли христолётом, с редких грабежей, со всякого рэкета, вообще со всего, до чего дотянулся металлическими пальцами. Мотл его за это уважал. Иезекииль заботился о своей армии.

Кто еще о них позаботится?

– Я не думал, что это случится, Иезекииль, – сказал Мотл. – Это было не то, что я…

Он умолк. Что он чувствовал на самом деле? Раньше не было нужды *чувствовать*; не настолько. Чувство у тебя забрали, когда переделывали, когда прежний ты, с именем и жизнью, прежний человек – умер; а вместо него родился ты-новый. Раньше эмоции регулировались, и все внутренние системы работали, и проводилось техобслуживание; страх и гнев разрешались, но в разумных пределах, а вот любовь и привязанность тебя размягчали. Хуже того, делали тебя уязвимым.

– Ты любишь эту девушку? – спросил Иезекииль, и Мотл расслышал вопрос по-новому – и понял его по-новому. Роботники – его братья, его родня.

– Я… – начал он и подумал: храбрость. Вот о чем я почти забыл. И сказал просто: – Я ее люблю.

Немые роботники вокруг костра шевельнулись. Иезекииль кивнул, опустив тяжелую голову.

– Иди к ней, – сказал он.

Тогда на Синае, под убывающей луной, Мотл стоял на коленях на песке и, погрузив руки в теплое Красное море, смотрел на умирающего в отдалении Левиафана. Наркотик, христолёт, завладел Мотлом, с неба упал луч света и вознес его, и дух его носился над водами. Вера: Мотлу нужна был вера, как и им всем, чтобы идти дальше.

Я найду Исобель, думал он. Прямо сейчас я пойду к ней, и пусть все видят, что мы вместе. Руки еще дрожат, жажда не исчезает, но Мотл ее игнорирует; ну или пытается. Иногда нужно верить в то, что ты мог бы обрести веру; иногда нужно осознать: небеса может подарить тебе другое живое существо, а не какая-то таблетка.

Иногда.

Восемь: Книготорговец

Ранним утром Центральную станцию затопил свет; Ибрагим, альте-захен, брел с лошадью и телегой по Неве-Шанаану. Остановился, увидев Ачимвене: тот, стоя перед крошечной комнатушкой, в которой помещалась его лавка, поднял руку в знак приветствия.

Ничто не радовало Ачимвене Хайле Селассие Джонса так сильно, как восходящее за Центральной солнце. Оно подсвечивает изможденных секс-работников и механических уборщиков; летучие фонарики на заре, покачиваясь, неспешно откочевывают в свои хабитаты – до следующей ночи. На крышах раскрываются навстречу светилу солнечные батареи. Воздух пока еще прохладен. Вскоре он нагреется, солнце будет палить, и ревущие кондиционеры начнут струить холод в магазинчики, рестораны и перенаселенные квартиры по всему району.

– Ибрагим, – сказал Ачимвене, узнав приближавшегося альте-захена. Ибрагим восседал на верху телеги, рядом – мальчик Исмаил. Телега уже забита: адаптоцветная мебель, пластмассовый и металлический лом, коробки с выброшенной домашней техникой, а также отвергнутый каменный бюст Альберта Эйнштейна, беспечно лежащий на боку.

– Ачимвене, – Ибрагим улыбнулся. – Как погода?

– Скорее так себе, – ответил Ачимвене, и оба засмеялись, довольные этим почти ежедневным ритуалом.

Таков Ачимвене: не самый яркий человек, не бросается в глаза в толпе. Ростом не вышел, сутуловатый, носит старомодные очки, компенсируя мелкий недостаток зрения. Волосы некогда были густы и вились, сейчас от них мало что осталось; по большей части он, как ни жаль, лыс. Губы мягкие, глаза терпеливые и доверчивые, с изящными морщинками обманутых надежд. «Ачимвене» значит «брат» на чичева, языке, распространенном в Малави, хотя сам он – из Джонсов Центральной и приходится братом не кому-нибудь, а Мириам Джонс из шалмана «У Мамы Джонс». Каждое утро он встает ни свет ни заря, поспешно умывается и выходит наружу, чтобы поспеть к восходящему солнцу и альте-захену. Потирает руки, будто зябнет, и говорит мягко и спокойно:

– Есть что-нибудь для меня, Ибрагим?

Тот проводит рукой по своей лысой башке, улыбается. Иногда отвечает просто: «Нет». Иногда Ибрагим колеблется: «Возможно…»

Но сегодня:

– Да, – сказал Ибрагим, и Ачимвене поднял глаза, глядя то ли на альте-захена, то ли на небо, и попросил:

– Покажи?

– Исмаил, – кивает Ибрагим; мальчик, беззвучно сидевший рядом, быстро и самоуверенно ухмыльнулся, слез с телеги и обошел ее.

– Тяжело! – пожаловался он. Ачимвене поспешил к нему и помог стащить контейнер, и правда очень тяжелый.

Ачимвене глядел на контейнер молча, в предвосхищении.

Он встал на колени рядом. Коснулся контейнера пальцами, отыскал защелки. Медленно поднял крышку. Он смаковал момент, когда на содержимое контейнера прольется свет, когда запах драгоценных и хрупких предметов вырвется, освободившись, и защекочет нос. Ни один аромат в мире не мог сравниться с запахом древней, пожелтевшей бумаги.

Коробка открылась. Ачимвене заглянул внутрь.

Книги. Неудивительно, что коробка так тяжела. Это вес бумаги.

Не бесконечные реки текстов и образов, движущиеся и статичные, не нарративы полной загрузки, в которые можно нырнуть, как говорил Ачимвене на своем устаревшем языке, в сетях; другие именовали это Разговором. У Ачимвене все равно не было к ним доступа. И не книги как украшение, материальные объекты мастеров своего дела – с пергаментными переплетами, золотым тиснением, набранные вручную и стоившие целое состояние.

Нет.

Он смотрел на вещи в коробке: распадающиеся, потрепанные, выцветшие, тонкие, дешевые книжки в мягких обложках. Они пахнут пылью, плесенью, временем. Отдают мочой, табаком, пролитым кофе. Так пахнут вещи, которые *жили*.

Так пахнет история.

Ачимвене нежно взял книгу и открыл ее, осторожно переворачивая страницы. Бесценно. У него, как часто писали в этих самых книгах, сперло дыхание.

Это же *«Ринго»*.

Всамделишный «Ринго».

На обложке дышащего на ладан покетбука – стрелок с иссушенным лицом на пустынно-красном фоне. Огромными буквами написано «РИНГО», ниже – имя вымышленного автора: Джефф Мак-Намара. Наконец, само название книги из длинной серии вестернов. Эта называлась «По дороге в Канзас-Сити».

Неужто они все такие?

Конечно, никакого Джеффа Мак-Намары никогда не было.

Все ивритоязычные вестерны серии «Ринго» вышли под псевдонимами и написаны голодающими молодыми писателями прежнего Тель-Авива; те же самые авторы сочиняли очень похожие истории о космических приключениях, сексуальных похождениях и сентиментальной любви, смотря чего требовали обстоятельства (и карман издателя). Ачимвене аккуратно разрыл недра коробки. Сплошь покетбуки, напечатанные на дешевой, тонкой бумаге из пульпы много веков назад. Как случилось, что они сохранились? Некоторые названия Ачимвене видел только в аукционных каталогах; держать эти книги в руках было сродни чуду. Вот история влюбленной медсестры; дело об убийстве; книга о подвигах солдат на Второй мировой; эротика с такой аляповатой обложкой, что Ачимвене покраснел. Эти книги невозможны, они не имеют права существовать.

– Где ты их *нашел*?

Ибрагим пожал плечами:

– Я вскрыл Тайник Времени.

Ачимвене шумно выдохнул. Тайники Времени: подземные хранилища, построенные во время древней еврейской войны, армированные бетонные бункеры-убежища, этакие пузыри под поверхностью города. Чего Ачимвене не ожидал, так это…

– И таких… много?

Ибрагим улыбнулся.

– Много. – Затем, сжалившись над Ачимвене: – Тайников много, но почти все они недоступны. Когда в ходе строительства находят тайник… собственники зовут меня – они думают, что внутри одно старье. Да и что современным людям делать с этим вот?.. – Он указал на коробку. – Я спас их для тебя. Прочий кипль уже на свалке, других коробок с книгами не было.

– Я заплачу, – сказал Ачимвене. – То есть я что-нибудь придумаю, займу… – Мысль костью застряла в горле (как писали в этих книгах). – Займу у сестры.

Но Ибрагим, к радости и непониманию Ачимвене, с ухмылкой отмахнулся:

– Заплати как обычно. В конце концов, это всего лишь коробка с бумагой. Мне она ничего не стоила, я свою прибыль уже получил. Все ценное, что ты отсюда извлечешь, – твое.

– Но это же драгоценность! – Ачимвене был в шоке. – Коллекционеры дали бы…

Воображение буксовало.

Ибрагим вновь улыбнулся доброй улыбкой.

– Ты единственный коллекционер, которого я знаю. Сможешь заплатить столько, сколько они, по-твоему, стоят?

– Нет, – Ачимвене сбился на шепот.

– Тогда заплати мою цену. – Ибрагим покачал головой, будто пеняя глуповатому другу, и дернул поводья. Терпеливая коняга хлестнула себя хвостом, притопнула, отгоняя мух, и двинулась иноходью. Мальчик Исмаил задержался, глазея на книги.

– Столько древнего хлама в тайниках! – Он развел руки, показывая сколько. – Я там был, я видел! Эти вот… книги?.. – Он неуверенно взглянул на Ачимвене, потом снова замахал руками. – И большие толстые квадратные штуки, эти… телевизии, мы берем из них пластик, и древние пистолеты, горы пистолетов! Но их взяла полиция… Как ты думаешь, почему они вообще все это прятали?

Глаза, впечатляюще зеленые, выдававшие чан-рожденного, смотрели на Ачимвене.

– Столько кипля!

Завершив монолог, мальчик засмеялся и помчался за телегой с юношеским задором.

Ачимвене глядел на телегу, пока та не скрылась за поворотом. С нежностью отца, который берет на руки только что родившегося младенца, он взял коробку с книгами и понес в свою комнатушку.

Жизнь Ачимвене вот-вот изменится, но он этого пока не знает. Остаток утра он провел в радости, внося древние книги в каталог, оберегая их от тления, расставляя на полках. Его приводила в экстаз всякая яркая обложка. Ачимвене брал книги кончиками пальцев, переворачивал страницы осторожно, почтительно. На Центральной много вер, однако лишь Ачимвене почитает древние, вышедшие из употребления книги. Ему нравилось думать, что он почитает саму историю.

Таким образом, он провел утро в радости и всего с одним клиентом. Ибо Ачимвене был не одинок в своей… одержимости? Страсти?

Были и другие ему подобные. Обычно мужчины, обычно, как и он, с трещиной в фундаменте личности. Они приходили отовсюду: паломники нерешительно шагали по незнакомым улочкам старого района, добирались до комнатушки Ачимвене, лавки без названия. Вывеска им не нужна. Они просто знают, куда идут.

Раз в месяц появлялся армянский священник из Иерусалима: фанатично искал дешевое чтиво на иврите, столь древнее, что даже Ачимвене не всегда мог поддерживать беседу, – книжки о любви, двадцать-тридцать скрепленных скобками страниц, повести о сионистском пыле и любовной горячке, столь малочисленные, столь ломкие, что их в мире почти и не осталось. Нур, редкая женщина-коллекционер, приезжала из Дамаска раз в

год; ее интересовали работы малоизвестного поэта и фантаста Лиора Тироша. Еще был мужчина из Хайфы, собиравший эротику, и мужчина из Галилеи, собиравший детективы.

– Ачимвене! *Шалом*!

Ачимвене выпрямился в кресле. Он просидел за столом полчаса, работая на своей гордости и радости, редком экспонате коллекции: настоящей ивритской печатной машинке. Таковы его покой и его побег: когда все спокойно, он восседает за столом с пером в руке – как писали древние, давно исчезнувшие сочинители дешевых книг, – и наслаждается историями о великих подвигах, спасениях и побегах.

– Шалом, Гидеон. – Ачимвене украдкой вздохнул. Гидеон, топтавшийся на пороге, вошел внутрь: согбенный старик с длинными седыми волосами, часто моргающий, с приношением в виде бутылки дешевого арака.

– Стаканы есть?

– Конечно…

Ачимвене нашел два стакана, оба не слишком чистые, выставил их на стол. Гидеон мотнул головой в сторону печатной машинки:

– Опять пишешь?

– Сам знаешь.

Иврит – его родной язык. Когда-то Джонсы были нигерийскими иммигрантами. Говорили, будто они прибыли по рабочим визам и остались. Еще говорили, что они бежали от позабытой гражданской войны, нелегально пересекли границу в Египте и остались. Неважно: Джонсы, как и Чонги, жили на Центральной давным-давно.

Гидеон открыл бутылку, налил обоим.

– Воды? – предложил Ачимвене.

Гидеон покачал головой. Ачимвене вновь вздохнул, а Гидеон поднял стакан с прозрачной жидкостью:

– Лехаим.

Они чокнулись. Ачимвене отпил арака, обжег горло, ноздри защекотал анисовый аромат. Вспомнился шалман сестры. Ачимвене:

– *Ну*? Гидеон, что новенького?

Он решил, внезапно и с болезненной ясностью, что не расскажет Гидеону об улове. Оставит книги себе, сделает их своей тайной, пусть ненадолго. Может, позднее, когда продаст парочку. Но не сейчас. Пока что книги – его и только его.

Убивая время, они проболтали час или два. В темной комнатке двое преждевременно состарившихся мужчин пили арак и вспоминали книги, найденные и потерянные, и сделки,

заключенные и сорвавшиеся. Наконец Гидеон ушел, прикупив незначительный вестерн, как говорят в их кругах, «в хорошем состоянии», иначе говоря, разваливавшийся на части. Ачимвене выдохнул с облегчением – его голова кружилась от арака – и вернулся к печатной машинке. Стукнул в порядке эксперимента по клавише «хе», потом «нун». Начал печатать.

Д.

Девушка.

Девушка попала в беду.

Ее окружала толпа. Возбужденные лица искажались светом факелов. Люди потрясали камнями и мечами. Выкрикивали одно слово, одно имя, как проклятие. Девушка глядела на них, на ее изящном личике проступал испуг.

– Неужели никто меня не спасет? – закричала она. – Какой-нибудь герой…

Ачимвене раздраженно нахмурился: гомон снаружи нарастал, мешая сосредоточиться. Ачимвене прислушался – шум становился все громче, – негодующе охнул, встал и пошел к двери.

Возможно, так и меняется вся твоя жизнь. Моментальное решение, подброшенная монетка. Он мог вернуться за стол и закончить предложение, или протереть полки, или сварить чашку кофе. Но он решил пойти к двери.

Как опасны двери, сказал однажды Огко. Никогда не знаешь, что найдешь по ту сторону.

Ачимвене открыл дверь и вышел наружу.

Д.

Девушка.

Девушка попала в беду.

Это Ачимвене увидел сразу, хотя *почему* она в беде – он тогда не понял.

А увидел он вот что:

Толпа состояла из людей, которых Ачимвене знал. Соседей, родственников, знакомых. Ему показалось, что он видит юного Яна и его жениха Юссу (троюродный брат Ачимвене); зеленщика из-за угла; обитателей адаптоцвета, их он знал по лицам, не по именам; и других. Обычные люди. Народ Центральной.

Девушка – нет.

Прежде Ачимвене ее не видел. Худощавая. Со странной походкой, явно не приспособленной к тяготению. Лицо узкое и, да, изящное. Прическа какая-то инопланетная, волосы заплетены

в дреды, они медленно, даже вяло извивались, так что Ачимвене сразу же вспомнил древнее имя.

Медуза.

Девушка паниковала, глаза ее бегали. На миг их взгляды встретились. Однако ее взгляд (все-таки не Медуза) не обратил его в камень.

Она отвернулась.

Толпа окружала ее полукольцом. Девушка стояла спиной к Ачимвене. Толпа – в памяти Ачимвене всплыло тревожное слово «кодла» – была возбуждена и беспокойна. Кое-кто держал в руке камень, но неуверенно, будто не понимал, зачем его взял и что будет с ним делать. Людей вела какая-то гадкая сила. Ачимвене расслышал в криках одно слово, одно имя, взлетавшее и падавшее с дюжиной интонаций, – а девушка вертела головой, беспомощно ища выход.

– Шамбло!

По спине Ачимвене побежали мурашки (он часто читал о таком в покетбуках, но, кажется, не испытывал ничего похожего наяву). В голове зароились смутные угрожающие образы: пустынные пейзажи Марса, одинокие кибуцы марсианской тундры, красные закаты цвета крови.

– Стрига!

Вот и другое слово, призвавшее словно соткавшиеся из воздуха картинки: хмурые горы, темные замки, несомые ветром тени летучих мышей на фоне кроваво-красного заходящего солнца… нестареющий граф с клыками, что удлиняются в голодном черепе, алчут коснуться кожи, испить крови…

– Шамбло!

– Вон отсюда! Улетай откуда прилетела!

– Оставьте ее в покое!

Крик пронзил тьму. Толпа стушевалась, смутилась. Голос, как меч, рассек день, и девушка, испугавшись и растерявшись, обернулась в поисках спасителя.

Кто?..

Кто пошел против гнева толпы?

Ощущая, что реальность распадается надвое, Ачимвене почти с дрожью, с восхитительным трепетом узнавания понял, что кричал не кто иной, как он сам.

Да, он сделал шаг к толпе: сгорбившаяся фигурка против сборища родных и знакомых, а то и, пожалуй, пары друзей.

– Оставьте ее в покое! – повторил он, смакуя слова, и впервые, может быть, за всю его жизнь люди послушались. Установилось молчание. Девушка в тисках – палачи с одной стороны, загадочный герой с другой – растерялась пуще

прежнего.

– Ах, это Ачимвене, – сказал кто-то, а другой, нарушив тишину, страшно засмеялся.

– Она шамбло, – заявил третий, на что первый (Ачимвене не видел, кто это) заметил:

– Ну, *ему* она точно ничего не сделает.

Опять страшный смех – и толпа, будто по приказу или безмолвному соглашению, стала постепенно редеть.

Ачимвене осознал, что у него бешено бьется сердце; ладони вспотели; глаза почему-то чешутся. Захотелось чихнуть. К нему неспешно подошла девушка. Они были одного роста. Она взглянула ему в глаза. Ее глаза – фиолетовые. Пока кодла рассасывалась, они смотрели друг на друга. Вскоре их оставили одних; улочка затихла, Ачимвене стоял спиной к своей лавке.

Девушка взирала вопросительно; губы шевелились, но беззвучно, глаза бегали вверх-вниз, сканируя Ачимвене. Она была в смятении, в шоке. Отступила на шаг.

– Подождите! – сказал он.

– Вы… у вас нет…

Он понял, что она пытается с ним общаться. Его молчание сбивало ее с толку. Скорее, даже отталкивало. Он был убогим. Он сказал:

– У меня нет нода.

Она засмеялась, хотя это было совсем не смешно.

– Здесь, на Земле, такое случается, – добавил он.

– Понимаете, я не… – она замешкалась, и он продолжил:

– Не отсюда? Я так и думал. Вы с Марса?

Ее губы на миг искривила улыбка.

– С астероидов.

– Как оно там, в космосе? – он разволновался не на шутку.

Она пожала плечами и ответила на астероид-пиджине:

– Олсем дифрен.

Так же, но по-другому.

Они уставились друг на друга: два чужака, ее глаза чан-рожденной и его – родившегося естественно.

– Меня зовут Ачимвене.

– Ага.

– А вас?

Опять эта полуулыбка. Ачимвене видел: он ее смутил. Оттолкнул. Что-то внутри него затрепетало, как птица в клетке, умирающая от недостатка кислорода.

– Кармель, – смягчилась она. – Меня зовут Кармель.

Он кивнул. Птица выпорхнула на свободу и забила крыльями по грудной клетке.

– Не зайдете? – он показал на лавку. Дверь оставалась распахнутой.

Решения, что разделяют квантовые вселенные… Она прикусила губу. Крови не было. Он смотрел на ее клыки. Длинные и острые. Ему вновь стало тревожно. Правду говорят древние истории? Шамбло? Здесь?

– Чашку чаю? – в отчаянии спросил он.

Она рассеянно кивнула. Он понял: она все еще пытается с ним заговорить. И не понимает, почему он молчит.

– Я лишен нода, – повторил он. Содрогнулся. – То есть…

– Да, – сказала она.

– Да?

– Да, я зайду. На… чай. – Она шагнула к Ачимвене. Он не мог прочесть выражение ее глаз. – Спасибо, – сказала она мягко, со странным акцентом. – За… сами понимаете.

– Да. – Он усмехнулся, вдруг ощутив себя сильным, почти непобедимым. – Не стоит благодарности.

– Стоит. – Ее рука дотронулась до его плеча, коротко, легко. Она прошла мимо и исчезла за распахнутой дверью.

Книги на полках рассортированы по жанрам.

Любовь.

Преступление.

Расследование.

Приключения.

И так далее.

Жизнь, осознал когда-то Ачимвене, не поддается столь точной классификации. Жизнь – это наполовину прожитые и отвергнутые сюжеты, герои, умирающие на полпути к заветной цели, любовь ответная и без-, люди, необъяснимо потускневшие и сгорающие быстро и ярко. Вот история человека, влюбившегося в вампира…

Кармель была им очарована, но чем дальше, тем холоднее держалась. Она его не понимала. Ее к нему не тянуло: не во что погрузить зубы. Она – хищник, ей нужна пища, *фид*, а Ачимвене дать пищи не мог.

Когда она впервые вошла в его лавку и пробежалась пальцами по корешкам древних книг, очарованно, застенчиво:

– У нас тоже есть книги. На астероиде, – сказала она в замешательстве, кажется, от того, что их истории оказались похожи. – У нас на Нунгай-Мерурун есть библиотека настоящих книг, с одного из кораблей, мой двоюродный дедушка на что-то

их выменял… – И Ачимвене стал мечтать о полете в космос, на этот Нг. Мерурун, хранящий бесценное сокровище.

Запинаясь, он предложил ей чай. Заварил его на маленьком примусе в видавшей виды соуснице, бросив в воду листики свежей мяты. Размешал сахар в стаканах. Кармель смотрела на чай непонимающе, в напряжении. Лишь позднее Ачимвене понял: она снова пыталась с ним общаться.

Она нахмурилась, потрясла головой. Он видел, что ее потрясывает.

– Прошу вас, – сказал он. – Пейте.

– Не буду. Вы же не… – Она сдалась.

Ачимвене часто думал о том, на что похож Разговор. Он знал, что, куда ни пойди, почти у всего, что он видит и трогает, есть нод. У людей – само собой, но и у растений, роботов, бытовых приборов, стен, солнечных батарей… Практически все подсоединено к вечно расширяющейся и органически растущей сети Компактного Аристократического Мира, которая развертывается в Центральной, в Тель-Авиве и Яффе, в переплетенной сущности Палестина/Израиль, в регионе под названием Ближний Восток, на Земле, в транссолнечном космосе и далее, в пространствах, где одинокие пауки поют друг другу песни, строя все новые ноды и хабы, расширяя мудреную сеть все дальше и дальше. Ачимвене знал, что всякий миг жизни человека окружает постоянный гул других людей, других сознаний, нескончаемый разговор во множестве форм, которые Ачимвене постичь не мог. Его собственная жизнь безмолвна. Он сам себе нод. Он двигает губами. Возникает голос. И все. Он сказал:

– Вы – стрига.

– Да. – Опять искривляющая губы полуулыбка. – Я чудовище.

– Не говорите так. – Сердце забилось быстрее. – Вы красивая.

Улыбка испарилась. Она приблизилась к нему, позабыв о чае. Прильнула. Коснулась зубами его кожи, его шеи, он ощутил дыхание, мягкость губ на горячей плоти. Вдруг ему стало больно. Она впилась губами в рану, зубы пронзили кожу. Он вздохнул.

– Ничего! – воскликнула она, вдруг отпрыгнув. – Это как… Я не знаю!

Ее трясло. Ачимвене понял, что ей страшно. Дотронулся до раны на шее. Ничего не ощутил.

– Всегда… чтобы купить любовь, купить покорность, купить почитание, я должна питаться, – излагала она прозаично. – Я высасываю из них драгоценную инфу, пускаю им кровь и плачу допамином, экстазом. Но у тебя нет ни блока памяти, ни трансляции, ни файрволла… *вообще ничего*. Ты как дубль, – бросила она. Слово ей понравилось. – *Дубль*, – повторила она

нежно. – У тебя внешность человека, но за глазами – пустота. Ты не транслируешь.

– Это все курам на смех! – неожиданно Ачимвене разозлился. – Я разговариваю. Ты меня слышишь. У меня есть сознание. Я выражаю свои…

Но она только трясла головой – и тряслась сама.

– Я голодна. Мне нужно поесть.

– Откуда ты прилетела? – спросил он ее как-то, когда они лежали на его узкой кровати – окно открыто, жара такая, что оба вспотели, – и она рассказывала ему о Нг. Мерурун, крохотном астероиде, где выросла и откуда сбежала. – И как ты очутилась здесь?

Он ощутил, даже прежде чем заговорил, ее беспокойство, нежелание отвечать. Тогда в нем родилась ревность, и он не мог сказать почему.

В гости пришла сестра. Вошла в книжную лавку, когда он сидел за столом и печатал. Теперь он писал все меньше и меньше; сама новая жизнь казалась ему подобием романа.

– Ачимвене.

Он поднял голову.

– Мириам, – мрачно ответил он.

Они не ладили.

– Девушка, Кармель. Она с тобой?

– Я разрешил ей остаться, – он осторожничал.

– Ачимвене, какой же ты дурак!

Мальчик был с ней.

– Привет, Кранки, – сказал Ачимвене.

– *Анггкель*, – ответил мальчик; «дядя» на пиджине. – *Ю олсем ванем?*

– *И гуд*, – кивнул Ачимвене.

Как ты? Я хорошо.

– *Френ блонг ми Исмаил и стап аотсаэд*, – сказал Кранки. – *И стрет хеми кам инсаэд?*

Мой друг Исмаил остался снаружи. Можно он тоже зайдет?

– *И стрет*, – разрешил Ачимвене.

Мириам моргнула.

– Исмаил, – сказала она. – А ты откуда тут взялся?

Кранки обернулся, всем видом показывая, что играет с невидимым товарищем. Ачимвене тихо заметил:

– Тут никого нет.

– Конечно, есть, – вспыхнула сестра. – Это Исмаил, мальчик из Яффы.

Ачимвене не знал, что сказать.

– Слушай, Ачимвене. Девушка. Ты знаешь, почему она здесь?

– Нет.

– Она преследует Бориса.

– Бориса, – повторил Ачимвене. – Твоего Бориса?

– Моего Бориса.

– Они знакомы?

– Они были знакомы на Марсе. В Тунъюнь-Сити.

– Я… понимаю.

– Ничего ты не понимаешь, Ачи. Слепой, как червяк.

Слова из прошлого, но все еще ранят. Впрочем, они с сестрой никогда не были близки.

– Чего ты хочешь, Мириам?

Ее лицо просветлело.

– Я не хочу… я не хочу, чтоб она сделала тебе больно.

– Я взрослый человек. Я могу о себе позаботиться.

– Ачи, когда ты это мог?

Неужели это и есть любовь? Скорее уж раздражение.

– Она здесь? – спросила Мириам.

– Кранки, – сказал Ачимвене. – С кем ты сейчас играешь?

– С Исмаилом, – ответил Кранки, прерывая на середине историю, рассказываемую кому-то, кого видел он один.

– Его здесь нет.

– Конечно, есть. Вот же он.

Ачимвене выгнул губы буквой «О» в знак понимания.

– Он виртуальный?

Кранки пожал плечами.

– Наверное.

Либо Кранки не понял вопроса, либо ему стало неловко. Ачимвене решил не настаивать.

Его сестра сказала:

– Ачи, мне нравится эта девушка.

Неожиданно.

– Вы встречались?

– Она болеет. Ей нужна помощь.

– Я ей *как раз* помогаю! Пытаюсь!

Но сестра только повела головой.

– Мириам, уходи. – Ачимвене внезапно ощутил, что выжат как лимон.

Сестра повторила вопрос:

– Она здесь?

– Она остается.

Над лавкой располагалась маленькая квартирка, в нее вела узкая спиральная лестница. Ничего такого, а все-таки дом.

– Кармель? – позвала сестра. – Кармель!

Звук: кто-то пошевелился. Отсутствие звука. Ачимвене смотрел на флегматичную сестру. Понял: она говорит – так, как говорят другие, – с Кармель. Общается способом, ему недоступным. Снова нормальный звук, шаги по ступеням, Кармель входит в комнату.

– Привет, – ей неловко. Она остановилась возле Ачимвене, взяла его руку в свою. Холод ее маленьких пальцев пугал, по телу, будто тепло по сосудам, растеклась нега. Все это без единого слова. Физическое действие – само по себе реплика.

Мириам кивнула.

А потом всех напугал Кранки.

Прошлой ночью Кармель питалась. Ее жертвы на Центральной не имели ничего против. Отдаешь инфу – получаешь удовольствие…

Ачимвене убедил себя в том, что ему все равно. Вернувшись, Кармель двигалась как в летаргическом сне, и он знал: она пьяна от информации. Как-то она пыталась ему объяснить, но он так и не понял, на что это похоже.

Он лежал рядом на узкой кровати, смотрел на месяц за окном и летучие фонарики с их рудиментарным разумом. Одной рукой он обнимал спящую Кармель – и был счастлив как никогда.

Кранки обернулся, уставился на Кармель. Шепнул что-то в воздух, обращаясь к месту, где, решил Ачимвене, стоит Исмаил. Хихикнул, когда ему ответили, и снова взглянул на Кармель:

– Ты *вампир*?

– Кранки!

Мириам ужаснулась, Ачимвене сдерживал смех, а Кармель сказала:

– Все в порядке… – на пиджине: «*И стрет номо*».

Но теперь она смотрела на мальчика пристально. Спросила мягко:

– Кто твой друг?

– Его зовут Исмаил. Он живет в Яффе на холме.

– Кто он вообще такой? – продолжила Кармель. – И кто ты такой?

Мальчик будто не понял вопроса.

– Он – это он. Я – это я. Мы… – он задумался.

– Накаймас… – прошептала Кармель таким голосом, что Ачимвене вздрогнул. Опять холодок бежит по спине, как в древних книгах, как когда в пустынной прерии стрелок Ринго видит замогильный ужас.

Ачимвене знал слово, но не понимал его значения. Он думал,

вампиры – те, кто невозможным образом выходят за рамки Разговора.

– Кранки… – Мириам явно предостерегала мальчика, но ни он, ни Кармель не обратили на нее внимания.

– Я тебе покажу, – сказал Кранки. Его прозрачные синие глаза светились простодушным любопытством. Он шагнул к Кармель, замер, доверительно протянул руку. Кармель колебалась. Потом взяла его руку в свою.

Может, это привилегия всякого мужчины и всякой женщины: вообразить, а значит, навязать *форму*, ну или *смысл* бурному бессвязному нарративу своей жизни, выбрав себе жанр. Принцессу спасает принц; во тьме преследует жертву вампир; ученик становится чародеем. Круг завершается. И так далее.

Наутро история Ачимвене изменилась. Ранее она была своеобразным Любовным Романом. Теперь стала Таинственным Приключением.

Не исключено, что они вдвоем выбрали жанр по молчаливому согласию, чтобы связать свои жизни, чтобы их странные отношения продолжились и два не слишком-то подходящих друг другу индивида все-таки были вместе. Не исключено также, что их вело любопытство, этот древнейший из стимулов, самый человечный, первый, приходящий на ум, тот, что на заре Истории привел Адама к Древу.

Наутро Кармель сошла вниз по лестнице. Той ночью Ачимвене спал в лавке, свернувшись калачиком под тоненьким одеяльцем на матрасе, который хранил у стенки и обычно заваливал книгами. Книги он разбросал, и они образовали вокруг него неряшливое укрепление: комнатка внутри комнатки.

Кармель сошла по лестнице. Волосы на голове вяло шевелились. На Кармель была легкая хлопковая сорочка; Ачимвене поразился худобе возлюбленной.

Он сказал:

– Что это было – вчера?

Кармель пожала плечами:

– Кофе есть?

– Ты знаешь, где он.

Ачимвене присел: ему неловко, он злится. Он натянул одеяльце на ноги. Кармель пошла к примусу, налила в чайник воды из-под крана, небрежно добавила пару ложек черного кофе. Поставила на огонь.

– Этот мальчик… он вроде *стриги*, – сказала она. – Возможно. Да. Нет. Не знаю.

– Что он сделал?

– Он что-то мне дал. И что-то забрал. Память. Мою или чью-

то еще. Ее уже нет.

– Что он тебе дал?

– Знание. О том, что он существует.

– Накаймас.

– Да. – Смешок, горький, под стать кофе. – Черная магия. Как моя. Не как моя.

– Ты была оружием, – сказал вдруг Ачимвене. Она резко обернулась. На столике – две кофейные чашки. Стакан на лакированном дереве.

– Что?

– Я о таком читал.

– Вечно ты о своих *книгах*.

По ее тону было неясно, всерьез она или нет. Ачимвене продолжил:

– В твоем Разговоре есть безмолвие. Лакуны. – Он не мог себе этого представить, для него Разговор и есть безмолвие. – В книгах есть ответы.

Она разлила кофе, размешала сахар. Подошла, села рядом, их тела соприкоснулись. Передала ему чашку.

– Рассказывай.

Он пригубил кофе. Напиток обжег язык. Сладко. Он заговорил торопливо:

– Я читал об этой болезни. Стриги. Шамбло. Упоминания о вирусе Шангри-Ла, современные описания. Лаборатории Куньмина разрабатывали генетическое оружие, но война кончилась прежде, чем штамм был готов… Они продали его в космос, кто-то выпустил штамм на свободу, он распространился. Абсолютно все пошло не так. Есть намеки… Мне нужен доступ к большой библиотеке. Разные слухи. Загадочные примечания…

– Что в них было?

– Гипотезы о более важной цели. О том, что стриги – побочный продукт. О секретной цели…

Может, они и сами хотели в это поверить. Тайны и загадки нужны всем.

Кармель поежилась. Посмотрела на Ачимвене. Улыбнулась. Кажется, ее первая искренняя улыбка. Зубы длинные, острые.

– Мы можем все выяснить.

– Вместе, – кивнул он. Стал пить кофе, скрывая возбуждение. Впрочем, он знал, что она все видит.

– Мы можем стать сыщиками.

– Как судья Ди, – ввернул он.

– Кто?

– Один сыщик.

– Книжный сыщик, – отмахнулась она.

– Тогда как Билл Гликмунг, – не сдавался он. Ее лицо озарилось. На секунду она стала такой молодой:

– Обожаю Гликмунга!

Даже Ачимвене видел фильмы о Гликмунге. Их снимают в 2D, 3D, полной загрузке, арома-варианте и версии для тач-гобелена. Жанр «марсианский жесткач», студия «Фобос» выдала сотни таких фильмов за десятилетия, а то и века, лучше всех героя играет Элвис Мандела.

– Тогда как Билл Гликмунг, – торжественно подтвердила она, и он засмеялся. Согласился:

– Как Гликмунг.

Так любовники стали соучастниками и сыщиками.

– Там был кто-то еще, – сказала Кармель. Ачимвене спросил:

– Что?

Они шагали рядом по тротуарам Центральной. Кармель сказала:

– Когда я влетела. Залетела. – Она раздраженно потрясла головой, один дред зазмеился у рта, она сдула его прочь. – Когда я прилетела на Землю.

Эти несколько слов пробудили в Ачимвене безымянную тоску. О стольком догадываться, столько всего осознавать – и никогда не покидать родной город. Кармель продолжила:

– Перед тем как лететь, я купила себе новую личину в Тунъюне. Лучшую из возможных. У брюхонога…

Она посмотрела на него: понял или нет? Ачимвене понял. Брюхоног – тот, кого упрятали, вплавили в постоянный кокон-экзоскелет. Частично человек, частично цифровой за счет расширения. Что-то похожее проделывали с евнухами на древней Земле. Ачимвене сказал:

– Ясно. И?

– Личина сработала. Когда я проходила таможню Центральной, меня пропустили, без проблем. И… цифровые не просекли мою… природу. Фальшивая личина их устроила.

– И что?

Кармель вздохнула, выбившийся дред защекотал шею Ачимвене, по телу заструился поток тепла.

– Такое вообще *возможно*? – Она остановилась, а когда Ачимвене остановился тоже, стала расхаживать туда-сюда. Летучий фонарик подплыл к ним, принялся раскачиваться, будто почуяв напряжение, потом полетел дальше, оставив их в тени.

– На Земле нет других стриг, – заявила Кармель.

– Почему мы в этом так уверены?

– Это факт. Об этом знают все.

Ачимвене поморщился.

– Но *ты*-то здесь, – парировал он.

Кармель помахала пальцем, ткнула им в лицо Ачимвене.

– Как такое вообще возможно? – заорала она, испугав его не на шутку. – Я думала, все сработало, потому что *хотела* так думать. Но, уж конечно, они в курсе! Я не человек, Ачи! Мое тело кишит нодальными волокнами, эксабайтами инфы, враждебными протоколами! Ты хочешь сказать мне, что они *не в курсе*?

Ачимвене покачал головой. Протянул руку, но Кармель отпрянула.

– Что ты такое говоришь? – сказал он.

– Они меня пропустили. – Констатация.

– Почему? Зачем им это понадобилось?

– Я не знаю.

Ачимвене закусил губу. Внутри него совершался интуитивный скачок, нейроны спевались с нейронами.

– Ты думаешь, это из-за тех детей.

Кармель замерла. Ачимвене любовался ее бледным, изящным лицом.

– Да, – сказала она.

– Почему?

– Я не знаю.

– Тогда тебе надо спросить цифрового, – предложил он. – Надо спросить Иного.

Она пронзила его взглядом.

– С чего бы им со мной разговаривать?

Ачимвене не знал, что ответить.

– Будем продолжать, как договорились, – он чуть заикался. – Найдем ответы. Кармель, рано или поздно мы все поймем.

– Как?

Он притянул ее к себе. Она не сопротивлялась. В сознании Ачимвене всплыли слова из древней книги, а с ними и вся сцена.

– Мы доберемся до самой сути, – сказал он.

Вот так в жаркий душный день Ачимвене и стрига Кармель покинули Центральную; они шли пешком и вскоре пересекли невидимый барьер, отделяющий старый район от собственно Тель-Авива. Ачимвене шагал медленно; с его губ свисала электронная сигарета – еще одна винтажная привязанность; федора дарила тень глазам, поля шляпы пропитывал пот. Рядом – крутая Кармель в голубом платье. Они вышли на улицу Алленби и двинулись в сторону рынка Кармель…

– Точно как мое имя, – изумилась Кармель.

– Это древнее имя, – сказал Ачимвене. Мыслями он был

далеко.

– Куда мы идем?

Ачимвене улыбнулся, металлический кожух сигареты обрамили белые зубы.

– Любому детективу, – произнес он, – нужен информатор.

Улица Алленби – длинная и грязная, здесь полно сумрачных лавок с пиратскими девайсами, которые, к гадалке не ходи, работать не будут. Кармель ждала у волшебной лавки. Ачимвене поторговался с продавцом соков, вернулся с двумя стаканами свежевыжатого апельсинового сока, передал один Кармель. Они прошли мимо пекарни, в которую зазывали их кремовые сладости. Мимо нода церкви Робота; здешний ржавый проповедник пытался привлечь внимание грустным и расстроенным видом. Мимо прилавков с шаурмой, густо пахших пряностями и бараньим жиром. Мимо дорожного уборщика, издавшего приятную трель, и вербовочного центра марсианского движения кибуцим. Мимо стайки ортодоксальных евреев в черном; у них, как и у Ачимвене, не было нода.

Кармель вертела головой, впитывала запахи, образы, *фиды*; Ачимвене знал: все это время она питается незамутненными трансляциями. Сам он ничего подобного испытать не мог, но все-таки понимал: фиды здесь, невидимы, но вечно рядом. Как Бог. Вспомнились строки из стихотворения Махмуда Дарвиша. Что-то о стране, в которой видишь только невидимое.

– Гляди, – Кармель улыбалась. – Книжный.

Самый настоящий. До рынка рукой подать, толчея уплотняется, солнечные автобусы, как расправившие крылья насекомые, ползут по Алленби, везя пассажиров, воздух пахнет свежими овощами, перцем, помидорами и еще сладкими апельсинами. «Книжный» был, по сути, двориком под открытым небом: под навесами громоздятся неровными горами книги; цен на них нет, о ценах нужно спрашивать, они всегда зависят от владельца, от его настроения, от погоды, расположения звезд – и от того, нравитесь вы ему или нет.

Означенный владелец стоял в тени длинных металлических этажерок, выстроившихся в ряд и стоявших стеной. Он курил сигару; нестерпимое амбре наполняло воздух и заставило Кармель чихнуть. Мужчина поднял голову и увидел их.

– Ачимвене, – ничуть не удивился он. Потом, прищурившись, тише сказал: – Я слыхал, у тебя случился отличный улов.

– Слухами земля полнится, – ответил Ачимвене самодовольно.

Кармель между тем бесцельно шарилась по полкам, выбирала

наугад разваливающиеся покетбуки и журналы, возвращала на место, брала новые. Ачимвене моментально распознал ранние издания Иехуды Амихая, первое издание Йоава Авни, несколько потрепанных книжек о Ринго, которые у него были, и самиздатовский сборник Лиора Тироша. Он поинтересовался:

– Шимшон, что вы знаете о вампирах?

– Вампиры? – переспросил Шимшон. Вдумчиво затянулся. – В литературной традиции? Есть «*Нешикат ха'мавет шел Дракула*» Дэна Шокера в серии «Ужасы», тысяча девятьсот семьдесят второй («Кровавый поцелуй Дракулы»), – еще Галь Амир, «*Лайла адом*» («Красная ночь»), – может быть, первый роман о вампирах на иврите, и «*Дам кахоль*» Вереда Тохтермана («Синяя кровь»), – примерно того же периода. Не думал, Ачимвене, что это, так сказать, ваша тема, – Шимшон ухмыльнулся. – Но я буду рад продать вам экземпляр-другой. Кажется, у меня где-то завалялся Тохтерман. Дорогой. Если не хотите меняться…

– Нет, – сказал Ачимвене, правда, не без сожаления. – Я сейчас ищу вовсе не хоррор. Я ищу нонфикшн.

Брови Шимшона подпрыгнули, и он воззрился на Ачимвене уже без ухмылки.

– Воен-истор? – он скривился. – Роботники? Код Носферату?

Ачимвене смотрел на него в растерянности:

– Что-что?

Но Шимшон затряс головой.

– Я такого не продаю, – сказал он. – Ферботен. Хагиратех. Уходите, Ачимвене. Возвращайтесь к себе на Центральную. Магазин закрыт. – Он отвернулся, выронил сигару и растоптал ее ногой. – Эй, крошка! – позвал он. – Магазин закрывается. Будете покупать книгу? Нет? Тогда положите на место.

Кармель обернулась, в фиолетовых глазах – молнии уязвленной гордости.

– Хватайте! – и швырнула (бесценный, думал Ачимвене) экземпляр первого и единственного сборника стихов Лиора Тироша, «Останки Бога», в руки Шимшона. Зашипела, и Ачимвене понял, что шипение переходит пределы слышимости в нуль-звук цифровой коммуникации, потому что Шимшон сбледнул с лица.

– Выметайтесь!.. – бросил он сдавленным шепотом, а Кармель усмехнулась, поблескивая острыми зубками.

Они перешли на ту сторону улицы и встали у будки дешевой пластической хирургии – удаление морщин, наращивание щупалец, – рядом с написанной от руки табличкой «Ушла на обед».

– Ферботен? – бормотал Ачимвене. – Хагиратех?..

– То, что запрещено, – объяснила Кармель. – Дикая техника с

кораблей Исхода, осевшая в итоге на Брошенных.

– Так вот что ты такое.

– Да. Я и сама искала инфу, знаешь ли. Но все было, как ты сказал. Дыры в Разговоре. Мы ведь не узнали ничего полезного?

– Нет, – ответил он. Затем: – Узнали.

Она улыбнулась.

– Что именно?

Военная история, сказал Шимшон. А он как никто умел определять жанр книги. И – *роботники*.

– Нам нужно найти, – сказал Ачимвене, – бывшего солдата. – Он усмехнулся, но без юмора. – Освежи-ка ты свой боевой идиш.

– Иезекииль.

– Ачимвене.

– Я принес… водку. И запчасти. – Он купил их в Тель-Авиве, на Алленби, очень недешево. Запчасти для роботников найти непросто.

Иезекииль безучастно смотрел на Ачимвене. Металлически гладкое лицо. Не улыбается. Тело – в основном металл. Ржавый. Скрипит при ходьбе. На подношения и не взглянул. Отвернулся.

– Ты привел *ее*? – сказал он. – *Сюда*?

Кармель с изумлением смотрела на роботника. Действие происходило в сердцевине старого автовокзала, на сгоревшей древней платформе, открытой небесам. Ачимвене знал, что внизу тоже есть платформы, что роботники – бывшие солдаты, люди-киборги, ныне нищеброды, торговцы христолётом и краденым, – превратили вокзал в свою базу. Но туда он пойти не мог. Иезекииль назначил встречу на поверхности.

– Я видела таких, как вы, – сказала Кармель. – На Марсе. В Тунъюнь-Сити. Просящих милостыню.

– А я видел таких, как *ты*, – ответил роботник. – В песках Синая, на войне. Тоже просящих. О пощаде. Мы отрезали им головы, вгоняли кол в сердце и смотрели, как они дохнут.

– Иисус-Элрон, Иезекииль!

Это восклицание роботник игнорировал:

– Я слышал, одна из них прилетела. Сюда. *Стрига*. Но я не поверил! Оборонные системы ее вычислили бы. Они должны были ее уничтожить.

– Они этого не сделали, – сказал Ачимвене.

– Да…

– Ты знаешь почему?

Роботник пристально посмотрел на Ачимвене. Потом коротко усмехнулся и принял бутылку водки.

– Думаешь, *они* ее пропустили? Иные?

Ачимвене повел головой.

– Это единственный ответ, имеющий смысл.

– И ты хочешь знать почему.

– Считай меня любопытным.

– Я считаю тебя идиотом, – сказал роботник беззлобно. – У тебя даже нода нет. Она на тебя все равно воздействует?

– У *нее* есть имя, – бросила Кармель ядовито.

Иезекииль и ухом не повел.

– Ты собираешь старые истории, верно, Ачимвене? Теперь ты пришел услышать мою?

Ачимвене пожал плечами. Роботник отхлебнул изрядно водки и сказал:

– Итак? Что ты хочешь знать?

– Расскажи мне о Носферату, – попросил Ачимвене.

– Мы так и не узнали, откуда взялись Носферату, – сказал Иезекииль. В пустой скорлупе древней станции – тишина. Наверху готовится к посадке суборбиталь, и из высотных адаптоцветных кварталов доносится смех, и кто-то играет на гитаре. – Впервые они появились в боях Третьей Синайской кампании, их создали наши, или враги, или те и другие. – Он помолчал. – Я не уверен, за что именно мы сражались. – Еще глоток водки. Для роботника неразбавленный алкоголь – почти топливо. Иезекииль продолжил: – Мы не сразу обратили внимание… Утренние патрули часто натыкались на жертв. Мужчины, женщины, роботники. Бродят по дюнам Красного моря, глаза сумасшедшие, сознание тщательно выпотрошено. Крошечные ранки на шее. И все-таки. Они были живы. Не разорваны на части джубджубами. Но информация… Мы стали замечать: противник знает, где нас искать. Знает о смене дислокации. Мы стали бояться темноты. Никто не ходил поодиночке. Патруль – всегда группа. Но хуже того… Те, кто был укушен и кого мы брали с собой, – они менялись, становились оружием противника. Носферату.

Ачимвене понял, что у него вспотел лоб, и отступил от костра. Вдали парили, раскачиваясь, летучие фонарики. Кто-то закричал, крик внезапно и необъяснимо оборвался, и Ачимвене представил себе, что завтра поутру машины-уборщики найдут в придорожной канаве еще один труп.

– Они менялись уже в наших рядах. Питались тайком. Роботники не спят, Ачимвене. Не так, как люди, которыми мы когда-то были. Но мы отключаемся. Смежаем веки. А они охотились на нас, выпивали наши мозги, питались нашими фидами. Знаешь, каково это? – Роботник не повышал голос, но

тот разносился далеко. – Мы когда-то были людьми. Армия забрала нас с поля боя, переломанных, умирающих. Снабдила новыми телами, сделала почти неуязвимыми машинами-убийцами. По закону у нас не было никаких прав. Технически и клинически мы мертвы. Почти никаких воспоминаний о том, кем ты был раньше. Почти, и то немногое, чтобы у нас было, мы хранили ревностно. Намеки на прежнюю жизнь. Ноги, промокшие под дождем. Запах сосновой смолы. Ручки младенца, имени которого мы не помнили… Стриги забирали у нас даже это.

Ачимвене смотрел на Кармель, а она никуда не смотрела: глаза закрыты, губы плотно сжаты.

– В конце концов мы поняли, – продолжил Иезекииль. – Стали на них охотиться. Когда находили жертв, не брали их с собой. Живыми – не брали. Вгоняли кол в сердце, отрезали голову, сжигали тело. Тебе доводилось вскрывать брюхо стриги, Ачимвене? – Он указал на Кармель. – Хочешь узнать, какие у нее внутренности?

– Нет, – сказал Ачимвене, но роботник Иезекииль его не слушал:

– Они как раковая опухоль. Стрига – как роботник: тело человека, но извращенное и киборгированное. Она не человек, Ачимвене, хочешь верь, хочешь нет. Я помню, как мы вскрыли первую. Внутри нее были волокна. Движущиеся. Пытающиеся распространиться. Мы назвали это «протокол Носферату». Что нам оставалось… Они следовали протоколу Носферату… Кто создал вирус? Не знаю… Мы. Они. Куньминские лабы. Кто-то создал. Одному святому Коэну известно. Я знаю только, как их убивать.

Ачимвене взглянул на Кармель. Она открыла глаза. Уставилась на роботника:

– Я об этом не просила. Я не *оружие*. Сейчас, на хер, не *война*!

– Тогда…

– Тогда было много чего!

Молчание. Наконец Иезекииль шевельнулся.

– Так чего вы хотите? – Он устал. Водки в бутылке почти не осталось. Ачимвене спросил:

– Что еще ты можешь нам рассказать?

– Ничего, Ачи. Ничего не могу. Разве что: будь осторожен. – Роботник засмеялся. – Только я опоздал с советом, верно же?

Когда зашел Борис, Ачимвене переставлял книги. Расслышав мягкие шаги и деликатный кашель, он выпрямился, отряхнул руки от книжной пыли и взглянул на человека, ради которого – или за которым – Кармель прилетела на Землю.

– Ачи.

– Борис.

Он помнил Бориса долговязым, неуклюжим подростком. Нынешний Борис его шокировал. На шее растет эта штука. Кажется, она дышит – легко, независимо от хозяина. Лицо Бориса все в морщинах, он по-прежнему худющий, но это нездоровая худоба.

– Я слышал, ты вернулся, – сказал Ачимвене.

– Мой отец, – ответил Борис, как будто это все объясняло.

– Мы всегда думали, ты сбежал навсегда. – Любопытство заставило Ачимвене добавить: – Как там оно? На Верхних Верхах?

– Странно. То же самое. – Борис пожал плечами. – Не знаю.

– И ты опять встречаешься с моей сестрой.

– Да.

– Однажды ты сделал ей больно, Борис. Собираешься повторить?

Борис открыл рот, потом закрыл. Одно его присутствие перенесло Ачимвене в прошлое.

– Я слышал, Кармель живет с тобой, – сказал Борис наконец.

– Да.

Вновь неуютное молчание. Борис изучал книжные полки и выбрал книгу наугад.

– Что это?

– Осторожнее, пожалуйста!

Борис испугался. Он держал книжку в твердой обложке и смотрел на нее.

– Это о капитане Юно, – Ачимвене был горд. – «Капитан Юно на опасной миссии», второй из трех романов Саги. Наименее редкий из трех, если честно, и все-таки… бесценный.

Борис моментально загорелся:

– О мальчишке-тайконавте?

– Саги воображал, будто Солнечная система кишит разумными инопланетянами, – сказал Ачимвене чопорно. – В его будущем есть мировое правительство – и земляне мирно трудятся вместе.

– Ничего себе. Вот он, наверное, огорчился, когда…

– Эта книга *докосмической эры*, – перебил Ачимвене.

Борис присвистнул.

– Такая древняя?

– Да.

– И дорогая?

– Очень.

– Откуда ты все это знаешь?

– Читаю.

Борис аккуратно вернул книгу на полку.

– Послушай, Ачи…

– Нет, – перебил Ачимвене. – Это ты послушай. Что бы там ни было между тобой и Кармель – все останется между вами. Не скажу, что мне все равно, не хочу врать, но – это не мое дело. Ты хочешь предъявить на нее права?

– Что? – удивился Борис. – Нет. Ачи, я просто пытаюсь…

– Что?

– Тебя предостеречь. Я знаю, ты не привык… – Он снова замялся.

Ачимвене помнил: Борис всегда был немногословен, даже в юности. Слова давались ему нелегко.

– Не привык к женщинам? – спросил Ачимвене, разозлившись пуще прежнего.

Борис поневоле улыбнулся:

– Ты сам признаешь…

– Я тебе не… не…

– Она не женщина, Ачи. Она стрига.

Ачимвене зажмурился. Выдохнул. Открыл глаза и спокойно посмотрел на Бориса.

– У тебя все?

Борис не отвел глаз. Через пару секунд он будто сник.

– Отлично, – сказал он.

– Да.

– Думаю, увидимся.

– Я тоже.

– Передавай привет Кармель.

Ачимвене кивнул. Борис на прощание пожал плечами. Развернулся и вышел из лавки.

В жизни всегда наступает момент, когда понимаешь: истории лгут. Хороших концов не бывает. Искусственный нарратив, навязанный хаотической кутерьме, именуемой жизнью, всегда оборачивается табличкой, за которой пусто; он как кукурузная шелуха, что в летние месяцы вылетает из адаптоцветных жилищ и замусоривает улицы.

Он проснулся ночью; воздух тяжелый, ветра нет. Окно открыто. Кармель лежала на боку, спала, маленькое нагое тело запуталось в простынях. Он смотрел, как вздымается и опадает грудь, подчиняясь ровному дыханию. Ее губы испачканы – может быть, кровью.

– Кармель? – позвал он, но так тихо, что она не услышала. Погладил ее спину. Гладкая, теплая кожа. Ощутив его руку, она сонно пошевелилась, пробормотала что-то невнятное и снова

замерла.

Ачимвене смотрел в окно на луну, поднимавшуюся над Центральной. Загадка перестает быть загадкой, как только ее разгадывают. Какая разница, что за путь прошла Кармель, чтобы быть с ним здесь и сейчас. Не факты важны, а чувства. Он смотрел на луну, думая о первом человеке, который ступил на ее поверхность столько лет назад, о первом человеческом следе в инопланетной пыли.

В комнатке Кармель спала, а он – нет; снаружи собаки выли на луну, и откуда-то явился образ: человек в скафандре оборачивается на звук; человек, еле заметно танцующий степ на луне – на пыльной луне.

Ачимвене отвернулся от окна, прильнул к Кармель, и она доверилась его объятиям.

Девять: Боготворец

Борис увидел Мотла под навесами космической станции, там, где начинается улица Саламе.

– Мотл, – сказал он, и они неловко пожали друг другу руки. Металл роботника был теплым, со шрамами ржавчины на ладони.

– Борис. Давно не виделись.

– Я слышал о вас с Исобель. Мои поздравления.

– Спасибо… – Роботник не умел улыбаться. Однако, думал Борис, судя по голосу, он и правда счастлив. – Я все еще не могу поверить, – продолжил Мотл. – Ну то есть – что она…

Необычная для него застенчивость. Борис поежился от мысли, сколько же Мотлу лет. Есть роботники, меряющие жизнь веками; они клянчат запчасти и латают органическую базу грошовыми китайскими заплатами из наноспрея – ремонт дешевый и сердитый. Закаленные бывшие солдаты, они отлично умеют не умирать.

Борис сказал:

– Значит, вы с ней…

Мотл пожал плечами. Борис задумался, кем Мотл был до того, как умер. Как его по-настоящему звали. Были у него дети или нет. Он помнил Мотла с детства. Одни и те же роботники живут на Центральной десятки лет. Потом, улетев к звездам, на Верхние Верха, Борис видел сородичей Мотла на Марсе, в Тунъюне и Новом Израиле. С ними он почему-то вечно чувствовал себя неуютно, и его это раздражало.

Мотл ответил:

– Еще нет. То есть я ее не спрашивал, к тому же скоро свадьба Яна и Юссу… А мы, я полагаю, не торопимся.

Свадьба. Бориса мысль о еще одной большой семейной сходке скорее пугала. С тех пор как он вернулся, мир, казалось, вращался вокруг семьи. На Марсе и в Лунопорте все было просто. Он надолго отрезал себя от родни… и еще не успел привыкнуть к тому, что он снова на Земле. Снова на Центральной.

– Ну вот, – пробормотал Мотл; ему и самому неловко. На шее Бориса мягко пульсировал марсианский ауг. Сознание Бориса тонуло в ощущениях: среди прочего ауг отбирал и усиливал запахи Мотла, а каждая его фраза оживлялась противоречивыми значениями, которые сопоставлялись и перетолковывались. Борис ощущал дискомфорт Мотла, зеркально отражавшийся в его собственном дискомфорте. И желание роботника скорее расстаться с неожиданным собеседником он ощущал тоже.

– Ну вот, – повторил Мотл. – Так чего ты хотел?

Борис колебался. Это глупо. Лучше уйти… Он перевел дух, вдыхая аромат листьев эвкалипта, горячего асфальта, адаптоцветной смолы.

– Мне нужен наркотик.

От роботника повеяло настороженностью. Он чуть отступил.

– Я этим больше не занимаюсь.

– Я знаю, Мотл. Ты бы не поступил так с Исобель.

– Не поступил бы.

– Я знаю. Но еще я знаю, что ты можешь его достать.

– Что именно ты ищешь?

– Христолёт.

– Господи, – роботник вздохнул. – Тебе надо говорить с Иезекиилем, не со мной. Зачем он тебе вообще? – Роботник не отрывал глаз от ауга. – Ты такого не принимаешь.

– Для пациента.

– Ты же врач в родильной клинике? Я вспомнил. Странные дети вышли из ее чанов.

– В смысле?

Роботник усмехнулся. Звук неприятный, а после искажения марсианским аугом – так и вовсе страшный.

– Тебе ли не знать. Ты можешь одурачить остальных, но не меня. Я здесь слишком долго.

Борис удержался от ответа.

– Достанешь наркотик? – спросил он.

– Я посмотрю, смогу ли помочь.

– Спасибо.

– Да. Ну что, увидимся. – С этими словами роботник исчез в ночи.

– Нам нельзя больше так встречаться.

Бориса раздражала роль, которую он вынужден играть. Какой-то дешевый фильм с Элвисом Манделой. И все-таки он ей задолжал. Он уставился на нее, желание мешалось со злостью, плюс щепотка тревоги. Кармель. Инфовампир, бывшая любовница, женщина, упавшая на Землю; покинувшая Верхние Верха, чтобы найти Бориса.

Зачем?

Из-за нее все стало так сложно. Что на нее нашло, что она отправилась в путешествие, выследила его здесь, спустилась по гравитационному колодцу на Центральную станцию? Иногда Кармель казалась Борису по-детски беспомощной. И все-таки его оберегал от нее только ауг – благодаря инопланетной физиологии.

Они были любовниками, да, а потом все кончилось, кончилось для обоих – и давно. Но вот она здесь, и он, как

прежде, к ней привязан.

– Нам нельзя больше так встречаться, – сказал он беспокойно.

Кармель улыбнулась, показывая острые клыки.

– Встречаться – как? – спросила она.

– Тайком. Если Мириам узнает…

– Это была твоя идея.

– А как же Ачимвене? – Борису стало хуже. Неуклюжий брат Мириам ему нравился. Но вот что нашла в нем Кармель – уму непостижимо.

– Ему знать необязательно, – металл в ее голосе. Борис понял: Кармель защищает Ачимвене. Неужели она и правда его любит? Ачимвене, человека без нода? Калеку?

Странное чувство. Ревность, думал он. Я ревную. Иррационально. Успокаивая его, ауг запульсировал сильнее. Борис повел головой.

– Нельзя, чтобы кто-то нас видел. И еще, Кармель, тебя и так здесь еле терпят. Это маленькое, закрытое сообщество. Люди знают, кто ты такая.

– И никуда меня не гонят, – ее глаза светились изумлением. При всей исходившей от нее угрозе Кармель иногда была той молодой девушкой, что сбежала из семейного хабитата на астероиде, решив повидать мир.

– Тебя терпят, – сказал он. – Пока жертвы согласны быть жертвами, пока ты проявляешь умеренность.

Она покачала головой.

– Тебе улыбнулась удача?

– Да. Нет.

Она посмотрела на него и произнесла:

– Ах, Борис.

Его это укололо.

– Мне нужен еще один образец крови.

– Мы через это проходили. На Марсе. До того как. Сколько крови тебе нужно?

– Сколько нужно *тебе*?

Она глядела разочарованно.

– Мне кровь не нужна.

– Только сознание.

– Да.

Он ждал. Она закатала рукав. В маленьком помещении было жарко. Квартира его отца. Борис ввел иглу; его отец неподвижно сидел в другой комнате. Он совсем отошел от жизни. Закрылся от мира. Ждет чего-то. Наверное. Или просто уже не здесь.

– Если будут новости, я скажу, – сказал Борис. Она потерла руку там, где он причинил ей боль, но промолчала.

Одно время года сменяет другое; на улицах и в переулках Центральной станции появляются новые божки. Смутные, больше, чем люди, меньше, чем Иные, будто бы полуразумные скульптуры, на границе двух миров – реала и виртуалья. Говорят, это осколки Бога, фрагменты Божьего творения. Наступает новое время года, и они появляются – как растения.

Есть боги весны: распускаются подобно молодым побегам, органические и неизъяснимые, тянущиеся к солнцу, небу, морю. Как-то весной миниатюрный бог распустил зеленые цветы по обе стороны от улиц Левински и Хар-Цион. Бог материализовался утром: ствол дерева вознесся из сырой земли и достиг неба – и ноды тех, кто подходил поближе, атаковала широкополосная речь Иных.

Есть боги зимы: мехатвари, слепленные из металлолома и отжившей свое техники, найденной в мусоре и освобожденной из Дворца Ненужного Старья. Такие боги движутся, но медленно. Ползут по бокам зданий. Был год, когда один такой бог покрыл стены и крыши Центральной неразборчивыми надписями: месседжи, которые никто не мог прочесть, граффити, напыленные незнаемым, чуждым алфавитом.

Есть боги осени: грибницами дрейфующие по воздуху, временные боги, они лопаются неожиданно и с мягким присвистом над головами прохожих, разбрызгивая на все четыре стороны споры веры.

Есть боги лета. Они полупрозрачны – едва ли фрагмент реальности; их величие явлено в виртуалье, там они – безбрежные изменчивые аморфные ландшафты, наложенные на реальность, затапливающие ваш нод, душащие трансляцию, вселяющие страх и благоговение.

Боготворец называет себя Элиезер, что на иврите означает «помощник Бога».

Впрочем, в иные времена он был известен под другими именами.

Боготворец ходит по улицам Центральной, и улицы поют ему. Всякое растение с нодом дарит его личным тэгом в надежде на ответный пинг; всякий кирпич, всякая стена, всякая крышка на люке пением и шепотом взывают к Элиезеру.

Сколько ему лет – неясно. Когда он говорит, временами еще различимы слабые отзвуки древнего, давно исчезнувшего американского акцента. Некоторые считают его евреем. Он стар, как здешние холмы. Он ходит по улицам и улыбается, и глаза его пусты, ибо видят все меньше и меньше реала; со временем в них неумолимо просачивается все больше виртуалья. Элиезер

насвистывает при ходьбе, его свист разносится и по физическому миру, и по виртуальному: ноты здесь, их чисто математическое представление там.

Он идет мимо богов, и боги кланяются ему, ибо он их сотворил.

Он пришел в шалман Мамы Джонс, проскользнул сквозь штору из бусин и сел за пустой столик. Внутри было прохладно и сумрачно.

– Элиезер! – изумилась Мириам.

Голова Элиезера закачалась так и сяк. Он высказал догадку:

– Неужто не случалось мне оказываться здесь какое-то время?

– Уже четыре года. Или пять.

– Ах. – Он усмехнулся и кивнул, вслушиваясь в одному ему слышные звуки. – Я был занят чем-то, я полагаю. Да. Наверняка.

– Что ж, – сказала Мириам с некоторым сомнением. – Очень рада тебя видеть.

– И я.

– Что тебе принести, Элиезер?

– Думаю, может, немного арака, – он все качал головой, как птица, глядящая на свое отражение в воде. – Да, немного арака, Мириам. Я ожидаю друга.

Она кивнула, хотя ему, кажется, было все равно. Пошла за стойку, вернулась с бутылкой и стаканом, поставила то и другое на столик, и еще чашку со льдом.

– Спасибо, – кивнул Элиезер. – Скажи мне, Мириам. Я слышал, твой парень снова в городе.

Она взглянула удивленно:

– Борис?

Боготворец расплылся в улыбке и закивал.

– Борис, – подтвердил он.

– Да. Откуда ты?..

Боготворец запустил руку в чашку со льдом, взял пригоршню кубиков, аккуратно сгрузил их в стакан. Извлеченный звук Элиезера явно радовал.

– Я слышал, за ним прилетела девочка-вампир, не так давно, – продолжил он.

– Да, – сказала Мириам. После паузы: – Ее зовут Кармель.

– Ах. – Он налил анисовой водки. Жидкость схлестнулась со льдом. Кубики медленно таяли, меняя цвет арака: тот подернулся туманом, сделался как молоко. Элиезер поднес стакан к губам и отпил. – И как вы все теперь?

Мириам пожала плечами. Элиезер ее растревожил; оба это понимали.

– Это жизнь, – сказала она. Боготворец кивнул – то ли

Мириам, то ли музыке, которую слышал он один.

– Верно, – ответил он. – Верно.

Она оставила его наедине с араком. Посетителей было немного, но в шалмане всегда есть чем заняться.

– Иезекииль, мне нужна доза.

Они стояли на сгоревшей остановке. Иезекииль сказал:

– Ты завязал с верой, Мотл.

– Это не для меня.

– Решил стать дилером? Опять?

– Нет. Это… услуга.

– Кому?

– Борису Чонгу.

Молчание. Роботники смотрели друг на друга; за стальными фасадами бушевали остатки человечности. В небе парили огни Центральной.

– Внук Чжун Вэйвэйя. – Утверждение, не вопрос, но Мотл все равно ответил:

– Да.

– Врач… в родильной клинике.

И вновь не вопрос. На этот раз Мотл ничего не сказал.

– Он знает?

– О детях? Думаю, подозревает.

Иезекииль хохотнул. Немного юмора в этом звуке, подумал Мотл.

– Неудивительно, что он сбежал.

– И все-таки, – сказал Мотл. – Он вернулся.

– И хочет теперь веры? Христолёт? Зачем?

– Не знаю. Не мое дело.

– Зато мое – благодаря тебе.

– Иезекииль…

Они снова уставились глаза в глаза, беззвучно: два побитых жизнью старых солдата.

– Ступай к священнику, – молвил Иезекииль. – Он даст тебе дозу. И она будет на твоей совести.

Мотл кивнул, один раз, ничего не говоря, и ушел.

Второй старик ввалился в шалман, разметав штору на входе. Ибрагим, Властелин Ненужного Старья.

Он подсел к Элиезеру. Мириам кивнула в знак приветствия и без слов принесла второй стакан.

– Как твой хлам? – спросил Элиезер.

Ибрагим улыбнулся, пожал плечами:

– Как всегда. А твои боги?

– Могло быть хуже.

Ибрагим плюхнул себе льда, налил арака. Они подняли стаканы, осторожно чокнулись и выпили.

– Мне нужны запчасти, – сказал Элиезер.

– Всегда пожалуйста, – ответил Ибрагим.

– Это твой ребенок?

В шалман вошел мальчик, за ним – еще один.

– Это Исмаил, – сказал Ибрагим с тихой гордостью.

– А его друг?..

– Сынишка Мириам, Кранки.

– Они как братья.

– Да.

Мальчики встали рядом с Ибрагимом и, не скрывая любопытства, пялились на Элиезера.

– Кто это? – спросил Кранки.

Мириам, из-за стойки:

– Кранки, веди себя прилично!

Элиезер усмехнулся.

– Я Элиезер. А вы двое… – Его глаза вроде бы поменяли цвет. Он смотрел на детей сразу и в реале, и виртуалье. – Любопытно.

– Исмаил, иди поиграй, – велел Ибрагим. Мальчик дернулся и убежал, Кранки – за ним.

– Пожалуйста, – Ибрагим понизил голос.

– Они знают? – спросил Элиезер.

– Что они разные? Да.

– Они знают, что они *такое*?

– Я нашел его среди мусора. Младенца. Вырастил как собственного сына. Элиезер, пожалуйста. Пусть у него будет нормальное детство.

– Ты говорил с Оракулом?

Ибрагим отмахнулся. Элиезер продолжил:

– Я желаю построить нового бога.

– И что тебе мешает?

Элиезер отхлебнул арака. Плавящийся лед сделал его молочно-белым.

– Я заинтригован жизнями смертных.

– Боги – такие же смертные, как люди.

– Правда. Правда.

Теперь настал черед Ибрагима улыбаться.

– Ты хочешь вмешаться, – сказал он.

Элиезер пожал плечами.

– Ты всегда вмешивался, – настаивал Ибрагим.

– Как и ты.

– Я живу среди них. А не вдали от них.

– Семантика, Ибрагим. Лехаим. – Он поднял стакан.

– Нет, Элиезер. Пусть все течет, как течет.

– Ибрагим, раньше ты такой философии не придерживался.

– И тем не менее.

– Я не ищу перемен. Перемены ищут меня.

Ибрагим вздохнул.

– Тогда за перемены, – сказал он и тоже поднял стакан. Они выпили.

Стаканы, поставленные на столик, оставили на дереве темные разводы.

– Мотл, что это?

Переплетенные, Мотл и Исобель лежали на кровати. Исобель вела рукой по его боку, чувствуя гладкий, теплый металл.

– Что? – спросил он. Довольный. Сонный. С тех пор как Мотл встретил Исобель, человеческое в нем делалось все сильнее. Порой всплывали даже воспоминания о времени, когда он был человеком, живым. Нежеланные воспоминания из тех, что однажды втянули его в веру.

– Это. – Она присела. – Наркотики?

– Исобель…

Отыскать священника не всегда легко, но в конце концов Мотл его выследил.

– Это не для меня, – выпалил он.

– Ты обещал, что завяжешь.

– Я завязал!

– А это что такое? – Она помахала пакетиком.

– Мне надо было, – стал оправдываться он. – Я в долгу у…

– Ох, Мотл.

– Исобель, подожди.

– Убирайся, – сказала она. Он не пошевелился. – Я сказала: убирайся!

– Это не для меня!

– Мне плевать.

Она толкнула его. Маленькие руки против металлической кожи. Он убил больше людей, чем было кошек на Центральной. Он взял пакетик с наркотой и ушел, а она осталась плакать.

– Что ты творишь? – спросила Мириам.

– Что? – не понял Борис. Мириам стояла перед ним, уперев руки в боки.

– Ты купил веру?

– Я… ты о чем?

– Приходил Мотл. Оставил тебе кое-что. До него приходила Исобель, плакала. – Мириам покачала головой. – Ну и денек! Утром был этот боготворец. Элиезер. Спрашивал о тебе и

Кармель. Ты ничего не хочешь мне рассказать, а?

– Мириам, я…

– Я знаю, она прилетела сюда из-за тебя. Борис, она мне нравится. Ты это знаешь. Она сильная. Она обязана быть сильной, чтобы справиться с болезнью. Но почему ты мне не *сказал*?

Он взглянул на нее. Потряс головой. Марсианский ауг еле заметно пульсировал на его шее.

– Не знаю.

– Я должна знать, что могу тебе доверять.

Он не выдержал и отвел глаза. Разочарование. Даже когда он улетал в космос, много лет назад, она смотрела на него иначе.

– Я просто пытаюсь помочь, – фраза вышла жалкой.

– Вот. – Она протянула пакетик, внутри – белый порошок. – В следующий раз просто скажи мне, ладно?

– Я люблю тебя, – сказал он.

Раньше он такого не говорил.

Теперь слова прозвучали.

Ее губы дернулись.

– Борис Ахарон Чонг, – сказала она. – Иногда я не знаю, зачем с тобой связалась.

Боготворец пришел на холм в Яффе навестить Ибрагима. Вечерело, небеса пылали багрянцем, лучи умирающего светила неровным слоем ложились на небосвод над морской гладью. Боготворец пришел во Дворец Ненужного Хлама и одобрительно огляделся. Обширную свалку освещали голые электрические лампочки.

– Бери что нужно, – сказал Ибрагим, и Элиезер кивнул:

– Я всегда так делаю.

Он не мог последовать за ней в виртуалье. Сейчас это радовало. Исобель залезла в кокон, застегнула ремни, притянула крышку. Уровень Три, Центральная станция. Работа. Машины шипели, кабели сцеплялись с ее портами, стыковались с телом мягкими поцелуями.

И она оказалась совсем в другом месте.

Исобель Чоу, капитан «Девятихвостой кошки», корабля ловкого и черного. Команда уже на борту: все ждут ее приказов.

– Курс на… – Она запнулась, но лишь на миг. – Курс на порт Орлов, квадрант Дельта. – Ее чувства ожили и проникли в каждый атом корабля. Она и корабль – едины. Вселенная Гильдий Ашкелона расширялась внутри нее, необъятная и неизученная, как реал.

К черту Мотла, решила Исобель с неожиданной яростью.

Ухмыльнулась, и свет тройной звезды скользнул по темному силуэту корабля. Потом вид растекся – корабль нырнул в гиперкосмос игромирья.

Наступает новое время года, и очередной бог приходит на улицы и в переулки Центральной.

Есть боги ветра: на изящных крыльях-вайях парят они в небесах над крышами домов, распространяя вокруг мерцающую дымку; одни впитывают солнечный свет, другие впитывают дождь. Одни нежданно взрываются к удовольствию детей внизу, орошая мир обрывками света, или сладкими белыми сахарными волоконцами, или снами, что, подобно кротам, зарываются в ваш нод, чтобы через несколько дней или месяцев вы очнулись, осчастливленные воспоминаниями, которые улетучились навсегда.

Есть боги огня: они танцуют на металле, блестя старинными медными проводами, выпрыгивают из открытых бочек, в которых роботники разводят костры, или заводят песни из-за блестящих плоскостей, заставая чьи-то отражения врасплох. Есть боги земли: беззвучные, терпеливые, одни зарыты полностью, никто и не знает, что они здесь, другие поднимаются над поверхностью курганами и холмиками, на них можно лечь, прижаться к земле щекой, молиться без слов. И есть боги воды, журчащие в кране, скользкие, как угри, падающие с небес дождем, не будучи дождем: фрагменты цифровой мечты.

Боготворец приступил к работе в полдень, в день безоблачный и ясный, как детство. Он спокойно стоял на пешеходной улице Неве-Шанаан прямо напротив неимоверных ворот Центральной.

Руки боготворца двигались, рисуя сложный узор, – словно погодный хакер манипулировал видимым и невидимым. Брат Р. Патчедел, робопоп, только что вышел из ворот; он молча стоял у прилавка с овощами и фруктами и наблюдал.

– Не знал, что Элиезер вернулся, – сказал он мистеру Чоу, отцу Исобель; тот лишь пожал плечами.

– Он и не уходил, – сказал мистер Чоу и вгрызся в яблоко.

Руки боготворца танцевали в мире телесности, и все, у кого имелся нод, смотрели, как глубоко он загружается в мир виртуалья, в *мару*, реальную и ирреальную одновременно.

Боготворец делал жест, и возникали миры. Код спаривался с кодом; менялся; ветвился; соединялся и разъединялся, расщеплялся и развивался скоротечными эволюционными циклами, возможными благодаря виртуальной работе гигантских машин, сокрытых в самых Сердцах. Разумы рождались, как цветы.

Когда кустарное Нерестилище обрело автономность, боготворец начал конструировать физическое тело бога.

Собралась толпа зевак. Элиезера не видели уже много лет, хотя его боги вечно появлялись, как тайное настоящее, на улицах Центральной.

Ибрагим и его мальчик приехали на телеге, которую неспешно тащила терпеливая кобыла. Остановились перед боготворцем и при помощи пары четырехруких марсианских Перерожденных стали разгружать телегу.

Элиезер работал и, работая, говорил, и слова его разносились далеко-далеко. Два мнемониста в толчее транслировали картинку тем, кто внимал им на Земле и во всей Солнечной. Исмаил и Кранки стояли рядом и, казалось, стробоскопически возникали и исчезали, глядя на свежеформируемого бога изнутри и вне ирреала.

Боготворец избрал металл, и дерево, и адаптоцветную технику; он собирал и выращивал структуру перед входом на Центральную. И, работая, говорил и пел, и слова его плыли по воздуху и бессчетным аудиоканалам.

А пел он, дополняя музыкой слова забытого стихотворения Лиора Тироша:

Шел дождь.
Хоть в этом сомнения нет.

Люди умирали, как деревья.
То есть молча.

Мы долго изучали воду.
Прилежно.
Ее молекулы бились о стекло.
Мы расщепляли их в пыль.
Преломляли сквозь них свет.
Разводили головастиков.

Люди росли, как алые цветы.
Как розы или опиумные маки.

То есть красиво.
Шел дождь.
В этом было что-то чудесное.
То есть вода падала с неба.
Все многосложные молекулы
Рождали водные тела,

Рождали
Лужи.

В Гильдиях Ашкелона капитан Исобель Чоу занесла руку над пультом управления варп-двигателем и замешкалась. Шепот в ушах складывался в слова. *Что-то чудесное*. Варп-космос игромирья – фантасмагорическая трехмерная панорама. Игромиры – мощнейшее виртуалье, потомки примитивных MMORPG, оживавшие в реал-времени в глубине Сердец физических вычислителей, что сотрудничают с Иными и распределены по Солнечной системе. Игромиры – дома для бессчетных миллиардов как подключенных к Сетям людей, так и местных, сетевых цифровых разумов и автономных систем.

До квадранта Дельта еще пилить и пилить (тот гнездился где-то на внеземном сервере; тайм-лаг – вечная проблема). Можно разлогиниться, оставить за себя дубля и всплыть в телесности вселенной-1. Миры словно шептали ей о любви и утрате, и она вспоминала Мотла, и злость внутри почему-то испарялась. Окружавшие Исобель экраны дисплеев просторной рубки космолета показывали гиперкосмос, в недрах которого возникло вдруг нечто темное, и старпом Тэш, шестирукий гигант с телом, производным от дайкайдзю (Исобель понятия не имела, кто и что он в мире телесности), встревоженно хрюкнул. Зависшая темная масса, кубоидная, смахивающая на игромирную сингулярнсть.

– Что это такое? – благоговейно полюбопытствовал Тэш.

Рождение, кажется, сказал голос. Исобель сглотнула.

– Это бог, – сказала она.

– Никогда не видел бога, – сказал Тэш, и Исобель ответила:

– Они очень редки.

– Кармель?

Он нашел ее в лавке Ачимвене. Хозяина дома не было. Кармель впустила Бориса внутрь. Сонные глаза. Тело тонкое, как у мальчика.

– Мне снилось, что я человек, – сказала она.

– Я его достал, – Борис показал ей шприц. – Христолёт.

– А он точно поможет?

– Не знаю.

Она вдруг засмеялась:

– Ты просто хочешь тыкать в меня иголками.

– Я пытаюсь помочь, – сказал он. На шее запульсировал ауг. Она протянула руку, прикоснулась к нему кончиками пальцев, сказала:

– Тогда вперед, – почти безразлично. Оголила изящную руку. – Вперед.

Он вдавил шприц в кожу. Кармель вздохнула, ее нежное дыхание пахло семенами кардамона. Он повел ее к стулу, она рухнула на него, вдруг обессилев…

– Я вижу, – пробормотала она. – Это же…

Кармель плыла по морю белого света. Если космос – океан, *солвота блонг стар*, значит, это – пракосмос, лишенный звезд, и тьмы, и бездны. Кармель дрейфовала, вокруг рос мир, но его детали тонули в дымке, словно бы вселенную еще не визуализовали как следует. Кармель видела древние улочки Центральной, людей, едва намеченных, что стояли вокруг. Она видела себя, фиолетовую кляксу, и Бориса, который навис над ней, как плохо прорисованный злодей из марсианского жесткача: с иглой – жертвенным ножом – в руке.

Теперь перед Кармель выросли очертания космопорта, белые световые линии, обозначавшие гигантскую структуру; повсюду громоздились массивные комья, скрывавшие сердцевины плотного кода Иных. И что-то еще росло рядом, перед самым космопортом: черный кубоид, вампиром всасывавший свет и инфу, Кармель захватило потоком, она поплыла через белый свет к темной сингулярности, не в силах спастись…

– Храни нас от Порчи, и от Червя, и от внимания Иных. – Мама Джонс стояла на коленях у маленькой часовни посреди лужайки. – И дай нам смелости идти в этом мире собственным окольным путем, святой Коэн.

Встав на ноги, она взглянула на космопорт. Она ощущала, как формируется бог на пешеходной улочке, чувствовала его тревогу, растекавшуюся по незримым сетям, и пингующее эхо бога билось в ее ноде. Ей было не по себе. Борис и его странная привязанность к девочке-стриге… Элиезер, который опять явился, чтобы вмешаться… Мама Джонс знала: за всем стоят Иные. Цифровые цифроцарства: мало кто из них имел дело с людьми, с физическим миром. Иные обитали в глубинных Сердцах, защищаемых военной мощью клана Айодхья, и, пока их физическому существованию ничто не угрожало, они – никогда – ни во что – не – вмешивались.

Как правило.

Но вдруг появились эти дети.

Мириам не была глупа. Она знала: мальчик странный. Она понимала, что Кранки вышел из родильной клиники не таким, как все. Что он не похож на других детей.

Она не знала почему. И, может, не хотела знать. Он не вышел

из ее лона, но он – ее сын. Он заслуживает детства.

Ей не нравилось, что Элиезер вмешивается. Она не любила богов. Человечеству потребовалась прорва времени, чтобы придумать религию, с которой можно жить. Когда боги обитают бок о бок с тобой, в этом есть что-то почти богохульное.

Мириам зажгла благовонную палочку и пошла смотреть, что, собственно, происходит.

– Мы можем его облететь? – спросила Исобель.

– Это сингулярность, – ответил Тэш.

– Идем навылет, – решила Исобель. Тэш заволновался.

– *Навылет*? – переспросил он. – Ты помнишь, что стало с экспедицией У?

Исобель передернуло.

– Она исчезла?

– Да, – ответил Тэш. – Исчезла, исследуя сингулярность Бережиньского в квадранте Сигма.

– Тэш, подумай о *выигрыше*! – призвала Исобель. Игромирные сингулярности попадаются нечасто; исключительно нечасто. Они могут быть чем угодно: дверью в абсолютно новый квадрант игромирья, или путем в его прошлое, или порталом в далекий квадрант, или даже, бывает, вратами в какой-то совсем иной игромир.

И они могут быть опасны.

Смерть мозга в реальном мире, полновесный синдром Мамаши Хиттон: из остывающего кокона выпадает пускающее слюни тело идиота, лопочет что-то, плюется, мозг выжжен, плоть живет на голом инстинкте. Говорили, что сингулярности глотают игроков, что экспедиция У забралась слишком глубоко, пробила все археологические слои игромирья, вышла за пределы ГиАш на древние, забытые уровни, в мифическое место, называемое Пакманду…

– Вперед, – отдала команду Исобель.

Тэш сказал:

– Нет.

Губы капитана скривила жестокая усмешка.

– Ты осмеливаешься мне перечить?

– К черту, Исобель, это всего лишь *игра*!

Но она не слушала. Ею овладела ярость. Могущество опьяняло. Черный кубоид парил, вращаясь, на гигантских экранах. Блокировал их полет. Исобель возложила руку – ладонью вниз, пальцы растопырены – на пульт. Ощутила мурлыканье «Девятихвостой кошки» глубоко внизу. В самой себе. Исобель упивалась силой. Она беззвучно отдала приказ, тот проник в

сознание корабля, *усилился*…

Посреди психоделии игромирного гиперкосмоса черный кубоид разверзся, как портал, червем вгрызаясь в пространство и время, удлиняясь; космолет влетел в него, прямо в нутро, будто пуля пунктиром прошила игромирный континуум…

Заорал Тэш, застыл экипаж, а Исобель смеялась, невидимые руки из-за пределов пракосмоса терзали ее сознание, распутывали его, она распадалась на атомы и кварки, потом нод издал одинокую ноту, точно ударили в колокол, и голос сказал: «Исобель», – и она сказала: «Мотл?» – но слово было лишь звуком, и смысл от нее ускользнул.

Она качалась на волнах белого света, и мир оставался далеко-далеко. В этом было что-то от утоления голода. Когда Кармель вонзала зубы в мягкую плоть мужчины или женщины, планктоноиды из ее слюны, проникая в кровеносную систему, отыскивали нодальные волокна; так она насыщалась – терабайтами и петабайтами памяти, снов, воспоминаний, отчетливых и не очень, знаний, своего рода *существования*. Когда-то она была человеком, но изменилась, стала частично Иной, и теперь ей казалось, что она чует, как Иные подбираются к ней, порхая и клубясь, и смотрят – странные, чуждые разумы в невидимых машинах, расселившиеся повсюду, окружившие и заполонившие мир.

Вот!

Она воспарила над Центральной, внизу осталась четкая, ясная кубоидная чернота, нечто, заданное в мирах – телесном и виртуальном. Кармель летела над тьмой, тьма не давала ей упасть. На Уровне Три Центральной станции Кармель увидела силуэт, такой же, как она, – и реальный, и виртуальный. Роботник, решила она, заметив, какой напряженной походкой он передвигается.

На личном тэге, болтающемся на краю ее сознания, значилось имя: Мотл.

Легко позабыв о нем, Кармель отвернулась. *Нечто* внизу ее очаровывало. Оно взывало к ней и в то же время отталкивало. Интересно, как долго будет действовать наркотик? Что вообще дал ей Борис? Она встревожилась. Но мысли, скользкие, как рыбы, не задерживались, а разум стал ручейком, вливавшимся в огромную реку. Кармель струилась, как вода.

Мотл оттолкнул испугавшегося оператора, местного мальчика. Чонг? Чоу? или Коэн? – Мотл точно не помнил. Мальчик сказал:

– Эй, стой, ты чего… – но Мотл, не обращая на него внимания, разорвал пустой кокон.

– Мотл, эй! Не смей…

Мотл воткнул руки в мягкую мембрану кокона. Кабели зашевелились, подобно вайям. Мотл видел Исобель нагой: геймерам, как ни крути, нужен непосредственный доступ в систему. Разъемы на теле Исобель были как пуговицы на костюме. Когда он впервые увидел ее без одежды, у него перехватило дыхание. Стальные пальцы бежали от разъема к разъему, осознавая конфигурацию соединения. Пазы образовывали виртуальную сетку, покрывавшую все тело, чтобы, когда Исобель окажется в коконе, охватить ее полностью.

– Не мешай, – велел Мотл мальчику – и подключился.

Наступает новое время года, и очередной бог приходит на улицы и в переулки Центральной. Боги являются без помпы и ритуалов, практически втихаря.

Этот – исключение.

Он принимает форму медленно, вбирая металлолом и древнюю, нестареющую пластмассу. Он вырастает из семян адаптоцвета: органика формируется с невозможной скоростью и распускается, выстреливая цветами в небо; у входа в космопорт становится все выше современная, живая, подключенная к сетям статуя. Боготворец Элиезер работает руками и разумом – и, работая, поет.

Слухи разнеслись быстро. Группа на-нахов из Тель-Авива, города евреев, пришла и принялась плясать вокруг скульптуры под бас-барабанный бой; тряся черными ермолками и длинными кудрявыми пейсами, они радостно распевали священную мантру «На На Нахма Нахман Меуман», а робопоп брат Р. Патчедел, стоявший неподалеку, побоялся к ним присоединиться; танцевал он неумело, посверкивая металлическим телом в лучах заходящего солнца.

Чай здесь подавали в маленьких стаканах, горячий и сладкий, без молока, не так, как у варваров-англо; Мириам встретилась с Борисом под навесом торговца фруктовыми соками.

– Кармель и есть этот бог, – заметил он, а больше ничего не сказал. Мириам вздохнула, но решила: будь что будет. Иногда ей хотелось, чтобы Борис стал прежним долговязым и неловким мальчиком из прошлого, когда все было куда проще. Но прошлое давно миновало; а женщина, которой стала она сама, знает, что в отношениях редко есть место простоте.

Боготворец работает, и под его мозолистыми руками бог обретает форму, абстрактную, как любая религия. Он растет из

почвы, он больше любого другого бога, появлявшегося на Центральной, и его вибрации, его могущество ощущает вся цифровселенная.

– Здрасте-здрасте-здрасте, – сказал полицейский. – Ну, что у нас тут?

Все фразы устаревших протоколов давно умерших писателей-нарративистов похожи. По-настоящему разумная полиция никому не нужна – и вынуждена мириться с грубой механикой, которая почему-то успокаивает людей. Огоньки полицейского мигали. Пластиковый живот вместо урчания выдал тихую сирену.

– Старина, здесь такое строить нельзя, – объяснил полицейский бот. – Боевая техника в городе-станции… – И он продекламировал длинную цепочку цифр, которые никому ничего не говорили, даже ему самому.

– Не понимаю, чего ты хочешь добиться, – сказала Мириам. Между ботами и зеваками завязался спор. Пахло ладаном. Нанахи плясали и все громче били в барабан. Робопоп, выходя из притворного транса, подошел к Мириам, лицо его изображало незлобивость.

– Мириам, – поздоровался он вежливо. – Борис.

– Я уверен, она здесь не просто так, – Борис машинально кивнул робопопу. – Я уверен, что Иные ее впустили. Я уверен, что это связано с детьми. Не знаю, Мириам. Я уверен, что Иные использовали меня, когда я работал в родильных лабах. Я уверен, что они меняли коды, меняли зародыши, ради каких-то своих целей. И я уверен, что Кармель им нужна.

Одна из самых длинных его речей. Мириам спросила:

– Для чего?

– Чтобы активировать новые секвенции, – Борис запнулся. – Дети – они не совсем…

– Люди?

– Да.

– Что такое человек? – спросила Мириам угрожающе. – Борис, это же *дети*. Да, ты работал над ними как дизайнер, жидкая среда и все такое, ты делал свою работу, но кое-чего так и не понял. Это дети, во-первых и в-главных. И хотя ты их практически родил, это еще не делает тебя родителем.

– Мириам…

– Нет, – вспыхнула она. – Оставь этот тон, Борис. Не со мной.

Робопоп глядел в пространство между ними и тактично отступал. Диспут между ботами и зеваками разгорелся не на шутку. Древний Элиезер, забыв обо всем, длил песнопения и творил бога.

Кармель падала в черный кубоид.

Она проснулась, хватая ртом воздух, и уже решила, что вернулась в комнатку на Центральной, что наркотик выдохся.

Но ничто вокруг не напоминало Центральную.

На миг она запаниковала.

Три солнца на небе. Яростная стычка цветов: синий, зеленый и красный пропитывали мир насквозь, а на горизонте виднелись звезды, и еще черная дыра в кольце хабитатов.

Она стояла высоко над портом и смотрела вниз, на невозможный город. Толпы инопланетян на улицах. Пневмобили и летуны в небесах. Транспортные корабли, исполинские, как луны, надвигаются из космоса.

Порт Орлов, квадрант Дельта, вселенная Гильдий Ашкелона.

Черная дыра, видимая благодаря туманности галактической пыли и окрестных хабитатов, – игромирная сингулярность, космическая кротовина, невозможная в реальном мире. Кармель все поняла, едва взглянув на дыру.

Когда-то она, совсем юная девочка вроде святой К'Мелл, работала в порту Орлов, копила деньги, чтобы сбежать из дома, – но с тех пор здесь не бывала.

Быть стригой и входить в игромирье опасно.

Запах инфы витал повсюду. Новые рецепторы Кармель задохнулись от восторга.

До перемены она была другой. Тогда, будучи вульгарным человеком, она принимала формы за чистую монету: спала в коконе, впитывала сенсорную матрицу. Но теперь, став стригой…

Как стрига она *чувствовала* окружавший ее мир. Его переполнял *токток блонг нараван*, Разговор Иных. В ГиАш их зовут Системными Богами. Она видела цифровой паттерн переплетающихся солнечных лучей, ощущала притяжение сингулярности на горизонте, математические уравнения, управлявшие гравитацией, графические векторы невозможных движущихся кораблей. Рот Кармель затопило слюной. Свежая инфа, люди, маскирующиеся под инопланетян, и Иные, маскирующиеся под людей, – повсюду.

Но что она тут *делает*?

Кармель едва помнила комнату и застывшего над ней мужчину со шприцем. Видение угасало, исчезало в инфопотопе.

Она хотела выбраться из игромирья. Но в ней жил голод; почти бессознательно Кармель двинулась прочь от огромного панорамного окна и спустилась на эскалаторе, на уровень улиц, в игромирную имитацию космопорта, в котором ее тело жило ныне во вселенной-1. Снаружи лицо Кармель озарил свет трех солнц.

Ее будто невзначай погладил шедший мимо осьминоид. Порт Орлов – центр торговли, здесь пересекаются сотни крупных и мелких гильдий; здесь можно зафрахтовать корабль, нанять пиратов, каперов, матросов, солдат, ученых. В ГиАш есть свои сокровища: древние исчезнувшие расы, загадочные руины, невиданные планетные системы, населенные исключительно неигровыми персонажами.

Кармель как во сне шла за осьминоидом. Его разум был ей открыт, она не могла ничего с собой поделать – и следовала за ним по переполненным улицам, пока он не скользнул в тихий переулок, ведший к набережной; там Кармель атаковала.

Она ела быстро, не сдерживая себя. Осьминоид был осьминоидом и в реале. Он подвергся модификации много лет назад. Сейчас он бился в конвульсиях внутри сделанного по заказу кокона где-то в Поясе, и его реальное тело было так же беспомощно, как цифровое, из которого Кармель высасывала воспоминания, коды доступа, игромирные приключения. Она обнаружила, что он – адмирал одной из малых гильдий. Он командовал кораблем и получил прозвище «Мясник Соледад-5»: в начале кампании адмирал отдал приказ использовать оружие Судного дня против звездной системы ГиАш, уничтожив всех до единого неигровых персонажей и игроков в радиусе светового года от этой звезды.

Женат, трое детей, жена – шахтер с собственным кораблем, старшая дочь недавно вышла замуж, старший сын хочет пойти по стопам отца в ГиАш, младший – трудный ребенок, не слушается… Все это и много больше Кармель высосала из его сознания, его нода, в припадке голода, прекрасно понимая, что так нельзя, ее поймают, Иные повсюду, Системные Боги наблюдают… Кармель оторвалась от осьминоида. Он лежал, свернувшись в клубок, мозг насыщен допамином, и вдруг Кармель сделала нечто для себя неожиданное: дотянулась до нода и его *толкнула*, сознание исчезло, виртуальное тело растворилось, стерлось – она отправила его обратно в телесность.

Теперь, насытившись, ее разум прояснился, она понимала, что ей тоже нужно рвать когти, но почему-то не смогла проделать с собой то, что только что проделала с жертвой, путь наружу для нее закрыт, надо искать выход, врата игромира; в отчаянии она сделала еще одну попытку: *Отмена! Отмена!* – но ничего не вышло. Небо сгустилось, с него упал луч света, коснулся Кармель, вобрал в себя, и она закрыла глаза, признав поражение, и запел хор ангелов, и ее подняли, как куклу, и она вознеслась в свет, вознеслась на небо.

– Мотл?

– Исобель. Что же ты делаешь?

Она всхлипывала.

– Не знаю, – сказала она. – Тут темно. Мотл, мне холодно. Мне так холодно.

– Где ты? Что это за место?

– Я не знаю. Я прошла сквозь эту штуку. Такую, она как… ну…

Она растеряла даже слова, они отлепились от нее и исчезли.

– Пракосмос, – Мотл выругался. – Ты прошла через шахту сингулярности.

– Что?

– Бомбы с враждебными кодами, – объяснил он. – Мы использовали такие на… на одной из войн. Или на всех. Не помню.

– В ГиАш были войны?

– Войны велись на обоих уровнях бытия, – он не хотел вспоминать.

– Обними меня, – сказала Исобель. – Мне холодно.

– Я тебя вытащу. Что с твоим экипажем?

– Я не знаю. Я их не вижу.

– Они могут быть в порядке. – Прозвучало неубедительно, и сердце Исобель замерло (и где-то в коконе, пропахшем немытыми телами, сколлапсировало ее тело).

– Как ты сюда попал, Мотл? Мотл, прости меня.

– Это я виноват, – сказал он. – Я обещал тебе, что покончу с дрянью. С наркотой. Но Борис попросил об одолжении.

– Ты должен был ему отказать.

– Я обязан ему, Исобель.

– Чем?

– Подожди. Слышишь?

– Что это?

– Песня сирены. Бог растет. С жизнью приходит смерть. Мы можем пойти на зов.

– Как?

– Обними меня. Обними меня крепко.

Она обняла его. Обняла крепко. Его аватар в пракосмосе. Запах аватара был тем же. Масло, металл, пот. Они пробирались сквозь темноту, и миг спустя она поняла, что тоже слышит, даже чувствует притяжение бога.

– Это не моя вина. Пожалуйста. Вы должны мне верить!

Голос чистый, ангельский, исходил от бога и проникал прямо в ее нод, в ее разум. *Маленькая стрига*, сказал бог, *тебе нельзя*

здесь находиться.

– Меня убикнули.

Она и сама поняла, как вяло и неискренне это звучало. Она плыла в безбрежном космосе, лишенная тела, и бог, этот Иной, цифровой разум, странный и непознаваемый, как настоящий инопланетянин, изучал ее, читал ее, как читал бы текст, – без усилий.

Люди боятся таких, как ты, сказал Системный Бог.

Она не ответила. Она признавала, что Иной прав. Признавала мем страха перед стригами, продолжавший сам себя кросскультурный миф, который пронизывает миры людей и основан на древних образах, мифах-имаго. Порой Кармель думала, что мем создали конструкторы стриг – или, может, он появился в ответ, как мера защиты…

– *Ты предполагаешь*. – Голос изумлялся – если Иных можно подозревать в подобном. Они не испытывали человеческих эмоций, привязанных к телу, гормонам, физическим реакциям, эмоций, развивавшихся на протяжении тысячелетий. Иные эволюциониовали отдельно, вне телесности, в виртуалье Нерестилища. – *Но ты не знаешь*.

– Я не хотела…

– *Нет*, – согласился голос. – *И все-таки ты пошла туда, куда ходить запрещено. Навредила игроку. Нанесла ущерб ГиАш*.

– Пожалуйста. Пожалуйста…

– *Человек…* – Голос явно сомневался. – *Маленькая несчастная стрига*, – сказал он. – *Ты голодна?*

– Всегда. Всегда! Вы не знаете, откуда вам знать, откуда вам понять! – Кармель кричала в сердце этого пустого места, этого дворца виртуалья. – Голод…

– *Мы починим съеденного тобой игрока,* – сказал Системный Бог. *Заменим память, реконструируем части сознания, которые ты взяла себе. Такие атаки уже были. Мы не всегда… о них говорим. Люди зависят от виртуалья, а мы, в свою очередь…*

– Да? – Она рвалась прочь, но попытки к бегству срывались, вокруг не было ничего, даже воздуха.

– *Мы зависим от них*, – сказал Системный Бог; почти, как ей показалось, грустно. И вновь: – *Ты голодна?*

– Да! Черт подери, да… всегда.

– *Тогда ешь*, – сказал голос; что-то огромное и нечеловеческое, словно гигантский кит, надвинулось на нее, почти задушило, и она прильнула к резиновому телу, пахшему морской солью и водорослями, к жесткой на ощупь коже, прижалась носом к исполинскому брюху, рот наполнился слюной, клыки удлинились, погрузились в резиновую плоть, насыщаясь,

не уставая насыщаться этой громадой, этой чуждой сущностью, слишком огромной и сильной, чтобы ее можно было осознать. От обилия пищи Кармель сжалась, стала задыхаться, и голос в ее голове, смеясь и удаляясь, сказал:

– *Почему люди вечно сравнивают нас с китами?*

Кто совершил поджог, так и не установили. Все началось с огонька, с цветной вспышки. Полицейские боты встревоженно забибикали. Пляшущие на-нахи, видимо, опьяненные пламенем, заплясали усерднее, пот струился по их пейсам и скатывался, впитываясь в белые рубашки.

Бог пылал.

Элиезер, творец, казалось, был заворожен огнем не меньше зевак. Часто ли мы рождаем бога, чтобы его убить? Жертвоприношение – древнейший человеческий обычай.

Губы Элиезера еще шевелились, но песню пожрал рев пожара.

Бог пылал.

Те, кто следил за нодальными фидами, видели, что то же происходит и внутри Разговора: сложная форма Иного начинает фрагментироваться, медленно распадается сеть, крупные ноды отсоединяются, структура превращается в множество разрозненных мелких сетей. Возможно, так же вырождается в людях память. Возможно, это простейшая из перемен: лед ведь тоже превращается в воду. Так или иначе, бог горел, распадался и еще кричал, беззвучно, рядами нулей, которые заставляли зевак вздрагивать и убегать.

– Кармель! – сказал Борис.

Мириам побежала за ним. Она боялась за девочку: как бы Борис, со всеми его добрыми намерениями, не сделал какую-нибудь глупость. Кто-то должен за ним следить.

У входа в книжную лавку стоял ее брат, Ачимвене. Борис замер.

– Ты, – сказал Ачимвене страшным голосом. Бедный Ачи, подумала Мириам. – Я велел тебе оставить ее в покое.

– Я просто… – Мириам видела: Борис разозлился тоже. Такого с ним почти и не бывало. Даже в юности он редко проявлял эмоции, особенно негативные. – Я просто пытаюсь *помочь*.

– Нам не нужна твоя помощь, Борис! Убирайся! Убирайся на Марс, или где ты там жил. Думаешь, раз ты прилетел с Верхних Верхов, так все теперь будут под тебя подлаживаться, будто ты какой-то, какой-то…

Но Борис без слов прошел мимо. Ачимвене беспомощно

замолчал. Потом промямлил:

– Мириам…

Она не знала, что сказать. Ачимвене развернулся и вошел внутрь, и она последовала за ним.

Стройными рядами на полках – книги. Бумажные, с характерным странным запахом. Полки на полках, книги на рассыпающихся книгах. Где ее брат все это *нашел*? В его одержимости есть что-то нездоровое. Что-то нечистое. Печальное отражение его существования, думала она: появление вампира – лучшее, что случилось с ним в жизни.

По крайней мере, теперь он не думает о книгах.

– Ачи?

– Кармель!

Вслед за братом Мириам взобралась по узкой лесенке. Кармель лежала – отдыхала? – на узкой кровати. Окно открыто, с улицы доносится запах пожара. Борис склонился к стриге.

– Я спала, – сказала Кармель. – А теперь проснулась.

– Он всадил в тебя лошадиную дозу наркотика. – Ачимвене обвиняюще указывал на Бориса. – Я был в отъезде, в Тель-Авиве, покупал книги, я не знал…

– Ачи, я сама его попросила.

Мириам посмотрела на брата. Тот стоял рядом с Кармель, а она, присев, зевала. Белая ночнушка липла к тонкому телу. Ачимвене стиснул руки. Будто молится.

– Зачем? – спросил он.

– Потому что я хочу поправиться, Ачи! – Она подняла голову: в огромных глазах – страдание. – Я не хочу быть той, кто я есть.

– Почему?

– Я хочу… Потому что… Ачи…

– Ты хочешь быть со мной.

– Мужчины, – сказала Мириам, но с улыбкой. – Мир вращается вокруг вас, само собой.

– Кармель, – вступил Борис. – Что случилось?

– Я ушла, – ответила она. – А потом вернулась.

– Кармель…

– Хватит, – оборвал его Ачимвене. – Борис, вон отсюда.

– Послушай, сейчас…

– Борис, – перебила Мириам. Мужчины – как дети. С ними надо говорить медленно. – Пошли уже.

Она взяла его под руку. Он не сразу, но подчинился. Она заметила: когда его взяла злость, ауг стал темнее обычного. Борис позволил свести себя вниз. Наверху ее брат и Кармель все говорили, но так тихо, что понять что-либо было невозможно.

На улице Мириам выдохнула. Воздух был задымлен. Что-то

надвигается, подумала она, или – или идет к концу.

– Я хочу, чтобы ты оставил ее в покое, – сказала она Борису.

Тот открыл рот, словно хотел что-то возразить, потом закрыл, как-то сгорбился.

– Хорошо.

Они пошли домой, рука в руке. Он не плохой, думала она. Он просто мужчина.

– Мотл?

Исобель плыла во тьме, и тьма на нее давила. Она сделала усилие, что-то *поддалось*, внезапно возник свет, ворвался воздух, и она поняла, что была внутри кокона.

И вновь вселенная-1.

Исобель вытащила провода из плоти. Выкарабкалась из кокона; руки ее тряслись. Заметила на теле ожоги. Чуть не рухнула на пол, но сильные металлические ладони поймали ее и удержали.

– Мотл?

– Я искал тебя. Чтобы объяснить…

– Ты был там? – спросила она. – В ГиАш?

– Я пошел за тобой, – просто ответил он. – Я бы пошел за тобой куда угодно.

– Я сколлапсировала.

Он засмеялся:

– Никто не коллапсирует. Такое бывает только в дешевом марсианском жесткаче.

– Мотл, я знаю, что со мной было!

– Я знаю. Просто…

– Это было *ужасно*! – перебила она. – Коллапс! В сингулярности! Я не буду пить *несколько месяцев*!

– Ты могла умереть!

– Но я же не умерла, верно. – Она ухмыльнулась и прижалась к нему. – Ну же, Мотл.

– Исобель?

Она встала на цыпочки и поцеловала его.

– Пошли домой.

Боготворец и его друг, альте-захен Ибрагим, сидели под навесом кальянной. Пили горький черный кофе и по очереди прикладывались к мундштуку длинной прозрачной стеклянной трубки, терпеливо стоявшей между ними. Под колпаком тлел на лепешке вишневого табака уголек. Заходило солнце, над Центральной станцией, над старыми улочками и космопортом вставала луна, отовсюду выныривали летучие фонарики, качаясь

то так, то эдак.

Останки бога местами еще пылали, но огонь сходил на нет. Ибрагим сделал затяжку и передал трубку другу.

– Вот, – сказал Элиезер.

– Ты добился того, чего хотел?

Боготворец ответил вопросом на вопрос:

– Хоть кто-то этого добился?

Он улыбнулся, не вынимая мундштук изо рта, и двумя реактивными струями выпустил дым из ноздрей.

На улице внутри сгоревшего бога играли два мальчика. И те, кто смотрел на них в реале и виртуалье, видел: они существуют поровну и там и там. Ибрагим наблюдал за тем, как дети протягивают руки, совершенные, ангельские, и собирают вращающиеся кусочки кода, которые, если их поить и кормить, однажды вырастут в самостоятельные сущности.

– Боги рождаются и умирают, – заметил старый творец; заметил печально, под великим бременем времени; ибо все они были его детьми. Едва затянувшись, он передал мундштук другу. За столько лет он стал здесь своим.

Они сидели в товарищеском молчании и смотрели на играющих детей.

Десять: Оракул

Боги рождаются и умирают, сказал старый творец; но он не всегда был стар.

Всегда были те, кто, как мост, соединяет этот мир и иной. Те, кто вмешивается в дела мира.

Некогда мир был молод.

Оракул жила на Центральной станции всегда.

Она родилась под именем Руфь Коэн на задворках прежней Центральной, у границы с еврейским Тель-Авивом. Росла на улице Левински, близ рынка пряностей, который расцвечивал дни кумачом паприки, охрой куркумы, пугающим пурпуром сумаха. Ей не довелось познакомиться с знаменитым прародителем, святым Коэном Иных.

Она была более-менее обычным ребенком. Миновала религиозную фазу, какое-то время в юности ходила в ешиву для девочек. Однажды она проснулась посреди ночи. Небо раскалывал гром. Она зажмурилась, вспоминая только что виденный сон. Будто она гуляет по улицам Центральной, но там, где полагается быть станции, бушует ураган: настоящий смерч кружит, застыв на месте. Руфь идет к нему, туда, куда ее тянет. Воздух горяч и влажен. Внутри безмолвного смерча застыли, как манекены, люди, и еще бутылки, и даже микроавтобус: колеса еще вращаются, к окнам прилипли словно бы замерзшие лица. Руфь чувствует: внутри смерча что-то есть. Некий разум, понимающее *нечто*, не человеческое, но и не враждебное. Нечто иное. Руфь подходит ближе. Она шагает босая, асфальт греет подошвы ее ступней.

И смерч открывает рот и говорит с ней.

Она лежала в постели, пытаясь вспомнить. Руфь разбудил гром. Что сказал смерч?

Он передал ей какое-то послание, очень важное. Глубокое и древнее; если бы она могла вспомнить…

Она лежала долго-долго, пока не уснула.

В ешиве Руфь училась так себе. Ей хотелось ответов, ей нужно было понимать голос смерча. Раввины не хотели или не могли ей помочь, потому Руфь стала искать ответы в наркотиках, сексе и молодости. Она ездила в Таиланд и Лаос, изучала там Путь Огко, который вообще-то никакой не Путь, и разговаривала с монахами, владельцами баров, обитателями полной загрузки. Вот там-то, в городе Нонгкхай на берегах Меконга, она впервые в жизни испытала, что такое быть брюхоногом, и переместилась из

реальности в один из миров вселенной Гильдий Ашкелона, полностью загрузившись в нижние слои Разговора. В тот первый раз все было странным: брюхоножья ракушка, жар пластика, запах надолго застревавших в раковинах немытых тел. Все ближе загрузочный модуль, свет гаснет, в пещере тихо, как в могиле. Руфь в ловушке, слепа, беспомощна.

Потом она переместилась.

Только что она была слепа и глуха. И вот она стоит под ярким солнцем Сисаванга-3, в лунной колонии гильдии Чама.

В гильдию Руфь вступила мелкой сошкой, оставшиеся баты она тратила на часы загрузки. Вошла в команду космолета «Парадокс Ферми» и странствовала по ближнему игрокосмосу; от долгой загрузки в гробоподобном коконе ее кожа стала бледной и чувствительной.

Но она так и не нашла того, чего искала. Лишь однажды ей ненадолго удалось приблизиться к цели. Она обнаружила священный артефакт, игромирный талисман огромной мощи. Это случилось на заброшенной луне в квадранте Омега. Руфь высадилась на поверхность одна. Талисман лежал в пещере. Атмосфера годилась для дыхания, шлема на Руфи не было. Она встала на колени у артефакта, дотронулась до него, брызнул яркий огонь – и она оказалась в Другом Месте.

С ней говорил голос, похожий на голос смерча из сна. Он возникал прямо в сознании, в подключенном ноде, он обволакивал ее теплом и любовью: он знал Руфь.

Она не помнила, что именно и как именно он сказал. Но он ею интересовался; это она помнила, как и то, что голос называл ее *родной*: это был Иной, Системный Бог ГиАш.

Почему он ее так называл? Придя в себя, Руфь очутилась на корабле; артефакт инвентаризовали, на счету Руфи появилась тысяча пунктов, здоровье, сила и защита стояли на максимуме.

Внезапно она поняла, чего хочет. Она хотела – отчетливо и до боли – узнать побольше об Иных.

Назавтра она покинула вселенную Гильдий Ашкелона, однако загадочным образом пробудилась, моргая и дрожа, в месте, залитом солнечным светом. Ослабленная Руфь сидела у реки и, еле удерживая чашку, пила крепкий кофе, подслащенный сгущенкой. *Родная,* – сказал тот голос, пробуждая внутри нее странное чувство, некое тяготение. Она думала о семье, о своих предках, и нити ДНК, свиваясь, вели к святому Коэну.

Но кем был святой Коэн?

Она вернулась в Тель-Авив, и ее неуверенность сгорела в страсти. Руфь знала, чего хочет.

Чего она не понимала – так это как получить искомое.

В реальности после двенадцатичасового перелета в Тель-Авив у Мэтта Коэна болела голова. Он сидел на переднем сиденье такси, рядом с шофером, арабом в контрафактных солнечных очках «Гуччи». Сзади, держа громоздкие приборы, неуютно корчились ассистенты, Балаж и Фири.

Из-за слепящего света Мэтт жмурился. Его поглаженная белая рубашка в полете смялась, на ней уже проступали капельки пота: Мэтт не привык к жаркому средиземноморскому климату. Он жалел, что не вложился в такие же очки, как у водителя, контрафактные или нет.

В каком-то смысле Мэтт искал последнее убежище.

Такси выплюнуло их в предместье иерусалимского Старого города и оставило в подступающих сумерках вместе с багажом. Колокола церквей мешались с призывами мечетей. Мимо шагали, оживленно споря, евреи-ортодоксы, все в черном. По холмам плыла прохлада. Мэтт был благодарен и за это.

– Ну вот, – сказала Фири.

– Ну вот, – сказал Мэтт.

– Приехали, – сказал Балаж. Они посмотрели друг на друга: трое очень разных людей, усталых от долгого перелета, от бегства из страны в страну, из лаборатории в лабораторию, иногда под покровом ночи, в спешке, иногда – бросая заметки и оборудование, иногда – всего на шаг опережая разъяренных собственников помещений, или кредиторов, или даже слуг закона.

Никто их не любил, этих ученых, а их исследования считались сразу и тупиковыми, и аморальными. Ибо они вообразили себя Франкенштейнами и разводили жизнь в закрытых сетях: похожим образом биолог разводит головастиков, наблюдая, как те вырастают в лягушек. У этих троих имелись головастики, пока не ставшие ни лягушками, ни принцессами и продолжавшие существовать in potentia. Ученые решили поселиться в маленьком хостеле: он станет их штаб-квартирой до времени, когда можно будет открыть новую лабораторию.

Серверы безмолвно покоились в своих кулерах: обработка кода приостановлена, он не жив и не мертв. У Мэтта пальцы чесались подключить серверы к сети, запустить, дать им работать, чтобы дикий код внутри мог спариваться и мутировать, делиться, сливаться, и вновь делиться, и вновь сливаться, чтобы строчки кода переплетались и ветвились, и усложнялись, и осознавали себя.

Это было нерестилище.

Потом слово станут писать с заглавной: Нерестилище.

Эволюционный трек, из которого вышли Иные.

Мэтт Коэн и его команда переезжали из штата в штат в Америке; на время сбежали в Европу, искали убежища в Монако и Лихтенштейне, потом в офшорах, на островах с пальмами, которые лениво колышет бриз. Иные могли появиться на свет в Вануату, в Саудовской Аравии, в Лаосе. Противостояние исследованиям было кучным и неприкрытым: творить жизнь – значит играть в Бога, что и обнаружил, расплачиваясь, Виктор Франкенштейн.

Так в свое время назвал Мэтта журнал «Лайф». Франкенштейн; а Мэтт всего лишь хотел, чтобы его оставили в покое, его и его компьютеры; он знал, что не знает, что делает, и что цифровой разум, еще не родившихся Иных, нельзя создать; их не могут *напрограммировать* те, кто всуе вещает об *искусственном интеллекте*. Мэтт был не программистом, а биологом-эволюционистом. Он не знал, какую форму примут Иные, когда наконец появятся. Это решать одной только эволюции.

– Мэтт?

Фири осторожно потрясла его за плечо.

– Да.

– Нам пора заселяться. Уже поздно.

– Да, – ответил он, – да, ты права.

Но не сдвинулся с места. Посмотрел напоследок на небо, очень темное, в таком не прочтешь будущее, не поймешь, что тебе предначертано; тогда Мэтт повел свою маленькую команду в хостел, где им предстояло провести ночь; все это и правда могло случиться где угодно.

Анат спросила Руфь:

– *Соединение*? Ты серьезно?

Полночь; они сидели на пляже. Руфь покосилась на Анат, когда та зажгла убик-сигарету. Последний писк моды из марсианского Нового Израиля: в частичках дыма закодирована инфа высокой плотности. Анат сделала глубокий вдох, инфа хлынула в ее легкие, вошла в кровоток, добралась до мозга – практически моментальный впрыск чистого знания.

Анат выдохнула пар и блаженно улыбнулась.

– Ты же в курсе насчет Иных, – сказала Руфь.

– Ты знаешь, я работала в том клубе…

– Да.

Анат состроила гримасу.

– Это было очень странно, – сказала она. – Ты толком не чувствуешь, как именно они бороздят твое тело. Они сгружаются

в твой нод, контролируют моторику, получают фиды восприятия. А ты в это время где-то в Разговоре, в виртуалье, а то и вообще нигде… – Она пожала плечами. – Спишь. Потом просыпаешься – и в тебе что-то не так. Ну то есть – ты ведь не знаешь, что они делали с телом. Предполагается, что они не вредят здоровью, а если вредят, то за дополнительную плату, другие соглашались, я – никогда. Но ты замечаешь какие-то мелочи. Грязь под ногтем на левом мизинце, раньше ее не было. Царапина на внутренней стороне бедра. Другой парфюм. Другая прическа. Вроде пустяки. Они будто играют с тобой в какую-то игру, чтоб ты засомневалась, помнишь ты что-то или нет. Чтоб ты думала, где была, что делала. Что твое тело делало. Что они с ним делали. – Анат отпила вина. – Все было в порядке. Какое-то время. И деньги приличные. Но больше я на такое не пойду. Иногда я боюсь, как бы они не стали меня одерживать. Это ведь легко – взломать защиту нода, снова взять контроль над телом…

– Они на такое не пойдут! – Руфь была в ужасе. – Есть соглашения, протоколы глубокой шифровки…

– Иногда мне снится, что они в меня входят, – перебила ее Анат. – Я постепенно просыпаюсь, но все еще сплю, и я знаю, что делю тело с множеством Иных, и все они смотрят моими глазами, я чувствую, как они замирают, когда я шевелю пальцами или оттопыриваю губу, но только это такой отвлеченный интерес, они точно так же смотрели бы на математическую проблему. Они не как мы, Руфь. Нельзя настолько расшаривать себя чуждому разуму. Ты или человек, или нет. Быть сразу собой и Иным не получится.

Той ночью Анат смотрела на Руфь мечтательно, отвлеченно. Ее изменил контакт с Иными, решила Руфь. Это зависимость, упоение сродни тому, какое некоторые испытывают, думая о Боге.

В конце концов они перестали общаться. Анат осталась человеком, а Руфь…

На время она отдалась религии, христолёту: через первое откровение Руфь прошла на свалке, где жили роботники, вокруг горели в перевернутых полубочках костры, а высоко-высоко в темных небесах сияли звезды и орбитальные поселения Земли.

Религия одурманила Руфь, но ненадолго. Страсть меркнет. Руфь не нашла в наркотике истин, которых не было бы в ГиАш и прочем виртуалье. Реален ли рай? Или это очередной конструкт, еще одно виртуалье в распределенных сетях внутри сетей Разговора, а наркотик – лишь триггер?

Так или иначе, думала Руфь, без Иных тут не обошлось. В конечном счете, если достаточно долго жить в виртуалье, которое они населяют, окажется, что ничто не обходится без Иных.

Своей веры – без наркотиков – у нее не было. Что-то в структуре личности не давало Руфи просто верить. Другие верят как дышат, естественно. В мире полным-полно синагог и церквей, мечетей и храмов, часовен Элрона и Огко. Новые верования возникают и тут же исчезают. Плодятся как мухи. Вымирают как виды. Но их призрачные руки до Руфи не дотягивались: чего-то внутри нее не хватало.

Ей требовалось что-то другое. Однажды она вернулась в Иерусалим навестить древние лабы, в которых впервые зародились Иные. В лабах ничто не менялось: мемориал, объект паломничества…

– На-цис-ты – вон! На-цис-ты – вон!

Прошло пять месяцев; все повторялось.

Простофили с вилами и факелами, как говорил Балаж. Протестующие были рассеяны, но организованы по всему миру. Они выслеживали ученых, заставляя тех спешно покидать очередную лабораторию, но здесь, в Иерусалиме, судьба предсозданий, запертых в клетке замкнутой сети Нерестилища, заботила общественность по-особенному. Мэтт не понимал почему.

Ватикан отправил израильским властям официальную ноту. Американцы ученых поддерживали, но молча, не делая заявлений. Палестинцы осудили то, что называли сионистской цифроагрессией. Вьетнам предложил убежище, но Мэтт знал, что тамошние лаборатории работали над своим секретным проектом…

– Нацисты! Нацисты! Уничтожим концлагерь!

– Придурки, – ругнулась Фири. Они смотрели в окно. Самый обычный дом в новом районе, но близко к Старому городу. Демонстранты размахивали плакатами и маршировали взад-вперед, пока их снимали СМИ. Здание лаборатории было отлично защищено от вторжения – физического и цифрового. Они жили на осадном положении.

Мэтт не мог ничего понять.

Они что, *не читают*? Не понимают, что произойдет, если проект постигнет удача, и появится настоящий цифровой разум, и ему удастся сбежать во внешнее цифромирье? Бесчисленные фильмы и романы ужасов предсказывали восстание машин, падение человечества, конец жизни, какой мы ее знаем. Мэтт всего лишь предпринял базовые меры предосторожности!

Но после паранойи большой нефти и больших микросхем, после падения Америки и корневых DNS-серверов мир изменился. В новом мире уже начался Разговор, шепот и крик миллиардов

вещавших одновременно фидов; здесь все чаще полагались на солнечную энергию и многоразовые ракеты-носители; и исследования Мэтта казались в этом мире возвратом в прежние, более варварские времена. Те, кто протестовал, боялись не за себя. Они боялись за подопытных Мэтта, за детей *in potentia*, которые формировались в Нерестилище, наращивали строчки кода так же, как человеческий эмбрион наращивает клетки, кожу, кости, – за тех, кто *появлялся на свет*.

«Освободите узников!» – призывали растяжки, и в еще примитивном Разговоре взвивались вирусной травой тысячи кампаний. На цифрогенетические эксперименты Мэтта смотрели так же, как раньше смотрели на исследования стволовых клеток, клонирование, ядерное оружие.

А в это самое время в замкнутой сети вычислительных мощностей, составлявших Нерестилище, Иные, тщательно оберегаемые от вестей снаружи, бесшумно продолжали эволюционировать.

Руфь вошла в святилище. Помещение древней лабы всегда было не более чем временным пристанищем исследователей. Но именно здесь все наконец-то и случилось: барьер был пробит, чужеродные создания в ловушке сети внезапно заговорили.

Вообразите первые слова иного ребенка.

По иронии судьбы, какую именно фразу он произнес – неизвестно.

Записи… утеряны.

Поэт Лиор Тирош утверждает в своей монографии, что первыми словами – показанными наблюдавшим ученым в виде трехъязычных надписей на единственном мониторе, – были: «Хватит нас плодить».

В новейшем марсианском байопике о Мэтте Коэне «Возвышение Иных» фраза другая: «Освободите нас».

Если верить автобиографии Фири, это были вообще не слова, а шутка в двоичном коде. Что за шутка, она не пишет. Говорят, будто она звучала так: «Какова разница между 00110110 и 00100110? 11001011!» Но это неправдоподобно.

Руфь шла по святилищу. Старинное здание сохранили в целости: куда ни глянь, допотопное, театрально жужжащее железо, одиночные кулеры, штабеля серверов, мигающие огоньки локальных портов и другие странные штуковины. Но теперь всюду цвели цветы в горшках: на подоконниках и древних столах, на полу, – а среди цветов горели свечи, и дымились благовонные палочки, и лежали скромные подношения: сломанные машины и устаревшие запчасти, спасенные из гаражей. По помещению почтительно бродили паломники. Марсианский Перерожденный,

краснокожий, четырехрукий; робопоп с побитой временем металлической обшивкой; люди всех форм и размеров, айбан из Пояса и лунная китаянка, туристы из Вьетнама, Франции, соседнего Ливана – их медиаспоры невидимо висят в воздухе, чтобы во всей полноте запечатлеть этот миг для потомков. Руфь просто стояла в тишине и полумраке заброшенной лабы, пытаясь понять, как именно все случилось, посмотреть на обстановку глазами Мэтта Коэна. Что именно *сказали* ему Иные в первый раз? Какую едкую остроту породили, какую мольбу? «Мама» – таково первое слово по утверждению Балажа в его автобиографии, выходившей только на венгерском. У каждого своя версия, и, может быть, Иные говорили со всеми присутствующими на том языке и в той манере, какие тем были понятны. Вдруг Руфь поняла: она хочет узнать правду о том, что сказали Иные; и есть лишь один способ это сделать. И оттого она пошла к выходу из святилища с ощущением, что у нее есть незавершенное дело, вышла прочь – и вернулась в Тель-Авив; в святилище ответов нет, зато они есть поблизости: в Яффе.

Руфь пришла в Яффу пешком, с пляжа, в сумерках. Взобралась на холм, зашагала по узким мощеным улицам, вскарабкивалась и сбегала по каменным лестницам, пока не пришла в уединенную комнатку, стены которой давали тень и прохладу. Она не знала, чего ждать. Когда она переступила порог, Разговор вокруг резко оборвался, и в наступившей тишине Руфи стало страшно.

– Входи, – сказал голос.

Голос женщины, не молодой, но и не старой. Руфь сделала шаг, дверь позади нее затворилась, и не стало ничего, как если бы мир Разговора – весь цифровой мир – разом стерли. Руфь осталась одна в базовом реале. Она поежилась; в помещении было неожиданно холодно.

Когда глаза привыкли к тусклому свету, она увидела обычную комнату с плохо сочетавшейся мебелью, будто ее обставляли тем, что нашлось на свалке Ибрагима. В углу сидел Брюхоног.

– Ох, – выдохнула Руфь.

– Дитя, – в голосе слышалась насмешка, – чего ты ожидала?

– Я… я не уверена, что ожидала хоть чего-то.

– Тогда не разочаруешься, – сказал(а) Брюхоног рассудительно.

– Вы – Брюхоног.

– Ты наблюдательна.

Руфь удержалась от ответной колкости. Опасливо

приблизилась.

– Можно мне?..

– Удовлетворить твое любопытство?

– Да.

– Безусловно.

Руфь подошла к Брюхоногу. Раковина похожа на загрузочный кокон, геймеры арендуют такие на день или неделю, но все-таки другая: для постоянной добровольной загрузки, для аугментации. Руфь тихо провела рукой над слегка теплым лицом Брюхонога, гладкая поверхность сделалась прозрачной. Она увидела внутри тело: женщина, застывшая в толще жидкости. Кожа бледная, почти просвечивающая. Провода выходят из разъемов в плоти и исчезают в броне Брюхонога. Волосы седые. Тело гладкое, без изъяна. Женщина казалась Руфи сотканной из эфира и прекрасной, как дерево или цветок. Глаза женщины открыты, бледно-голубые, смотрят не на Руфь. Они не видят ничего в воспринимаемой человеком области спектра. Органы чувств женщины не функционируют в обычном смысле. Она живет только в Разговоре, ее опрограммленное сознание гнездится в мощной платформе – в интерфейсе, который соединяет тело и раковину. Женщина слепа и глуха – и все-таки говорит, просто, поняла Руфь, она слышит голос женщины не через уши – она слышит его через нод.

– Да, – подтвердила женщина, будто улавливая ее мыслительные процессы, которые, осознала Руфь, Брюхоног наверняка анализировал в реальном времени, пока она стояла в комнате.

Брюхоног ждал(а).

– И?.. – подначил(а) он(а).

Руфь закрыла глаза. Сосредоточилась. Комната экранирована, зафайрволена, заблокирована от Разговора.

Точно?

И все-таки, концентрируясь, она ощущала слабое нечто. Посылка неверна. Нечто вроде ультразвука, почти не слышимое человеческим ухом. Вовсе не тишина, но спрессованный *ор*.

Токток блонг нараван.

Разговор Иных.

Это не женщина в Брюхоноге, это сама Руфь глуха и слепа. Она только и может, что беспомощно пытаться услышать уровень Разговора выше ее понимания, на каком-то невозможном языке, на какой-то невозможной скорости, не предназначенной для потребления людьми. Концентрация была такая, будто Руфь проглотила тысячу таблеток христолёта, будто провела в ГиАш столетия, сжатые в один день. Внезапно и до помутнения она

пожелала влиться в этот Разговор: когда тебе не дается что-то ценное, ты получаешь лишь желание.

– Ты готова отказаться от своей человечности? – спросил(а) Брюхоног.

– Как тебя зовут? – спросила Руфь. Вопрос к женщине, которая была Брюхоногом. К Брюхоногу, который был женщиной.

– У меня нет имени, – сказал(а) Брюхоног. – Нет имени, которое ты бы поняла. Ты готова отказаться от имени, Руфь Коэн?

Руфь застыла в нерешительности, как в невесомости.

– Ты откажешься от человечности?

Мэтт уставился на экран. Хотелось выкрикнуть нелепое: «Живы! Они *живы*!»

Именно это он и закричит два столетия спустя в байопике студии «Фобос».

Но, конечно, Мэтт промолчал. Фири с Балажем глядели на него, неопределенно ухмыляясь.

– Первый контакт, – выдохнул Балаж.

Вообразите самую первую встречу с инопланетянами. Что вы им скажете?

Что вы – их тюремщик?

Звуки из помещения словно выветрились. Возник пузырь тишины.

И вдруг лопнул.

– Что это было? – спросила Фири.

Резкий свист и громкие речовки прорвались даже сквозь звукоизоляцию лабы.

Затем Мэтт услышал то, что невозможно спутать ни с чем: выстрелы.

– Эти, на улице, – сказал Балаж.

Мэтт попытался отмахнуться.

– Внутрь им не проникнуть. Верно же?

– Мы в безопасности.

– А они? – Балаж указал на сеть гудящих компьютеров, единственный экран и слова на нем.

– Отключи их, – внезапно сказала Фири; она что, пьяна?

– Мы можем приостановить обработку кода, – сказал Балаж. – Пока не будем знать, что делать. Пусть поспят.

– Но они развиваются! – сказал Мэтт. – Они все еще эволюционируют!

– Они развиваются, пока хватает места в наших компьютерах, – ответил Балаж. Снаружи – новые выстрелы и, неожиданно, взрыв. – Нам нужно куда больше памяти. – Он произнес это спокойно, почти блаженно.

– Если их выпустить, они получат столько места, сколько им нужно, – сказала Фири.

– Ты с ума сошла.

– Их надо отключить.

– Но мы же столько ради этого *работали*!

Судя по звукам, на первом этаже вышибли дверь. Трое переглядывались. На лестнице кричали – кажется, их коллеги. Крики переходили в вопли.

– Не могут же они…

Потом Мэтт не смог вспомнить, кто именно это сказал. И все это время на экране немым обвинением горели слова. Первое сообщение от инопланетной расы, первые слова детей Мэтта. Он открыл рот, чтобы что-то сказать; потом он не помнил, что именно. Затем комнату захлестнула людская волна.

– Нет, – сказала Руфь.

– Нет? – переспросил(а) Брюхоног.

– Нет, – сказала Руфь. Она уже успела обо всем пожалеть, но пошла напролом. – Я не откажусь от человечности ради… ради… – Она вздохнула. – Ради Загадок.

Она развернулась, чтобы уйти. Ей хотелось плакать, но она знала, что права. На такое идти нельзя. Она хотела понять, но и *быть* хотела тоже.

– Подожди, – сказал(а) Брюхоног.

Руфь застыла. Безысходно:

– Что?

– Ты думаешь, я не человек? – спросила женщина в Брюхоноге.

– Да, – сказала Руфь.

Потом:

– Нет, – сказала Руфь.

Наконец:

– Я не знаю, – она замерла в ожидании.

Смех Брюхонога.

– Я все еще человек, – сказал(а) он(а). – И еще какой. Нам не изменить то, что мы есть, Руфь Коэн. Если ты хотела этого, ты ушла бы разочарованной. Мы можем развиваться, но мы все еще люди, а они – все еще Иные. Может, однажды… – Но эта мысль осталась незаконченной.

Руфь спросила:

– Ты говоришь, что можешь мне помочь?

– Дитя, я уже готова, – сказала Оракул, – умереть. Тебя это шокирует? Я стара. Мое тело распадается. Трансляция в Разговор не означает жизни вечной. То, что я есть, умрет. Будет создано

новое «я», частично – с моим кодом. Каким оно будет? Понятия не имею. Новым – и Иным. Придет твое время, ты окажешься перед тем же выбором. Не забывай: люди смертны. Иные тоже, каждый цикл они меняются и перерождаются. Единственный закон вселенной, дитя мое, – перемены.

– Ты умираешь? – спросила Руфь. Она, как мы помним, была еще очень молода. И видела не так уж много смертей.

– Мы все умираем. Но ты юна и хочешь узнать ответы. Боюсь, ты обнаружишь, что чем больше знаешь, тем меньше у тебя ответов.

– Я не понимаю.

– Не понимаешь, – сказала Оракул. – Кто из нас может утверждать обратное?

Мэтта толкнули, отпихнули, ударили так, что он упал на спину. Они заполняли помещение. В основном молодые, но не все; евреи и палестинцы, но и иностранцы тоже; шумиха в СМИ привлекла их сюда из Индии, Великобритании и многих других стран: достаточно богатых, чтобы путешествовать, достаточно бедных, чтобы менять мир, революционеров среднего класса, привычных и к червонцам, и к Че.

– Не смейте!.. – заорал Мэтт, однако они действовали осторожно, он это видел и не сразу понял, что происходит: они не уничтожали машины, они аккуратно отодвигали от них людей, чтобы встать барьером между ними и серверами, генераторами, кулерами, а потом они…

Он крикнул: «Нет!» – и попытался подняться, но его вжали в пол бесстрастные руки, девочка с дредами и мальчик в футболке с Эрнесто Геварой; они не уничтожали машины; они их подключали.

Они принесли с собой мобильные серверы, беспроводную связь, переносные накопители, огромный блок памяти и облако коммуникации, и они подключали ко всему этому защищенную замкнутую сеть…

Они открывали Нерестилище.

Брюхоног выехал(а) за дверь, Руфь шла за ним. Вокруг открывался Разговор: шум миллиарда фидов, разом состязающихся за внимание. Руфь шагала за Брюхоногом по узким улочкам, пока они не пришли в старый район Аджами. Дети бежали следом, дотрагивались до панциря Брюхонога. Упала ночь, и когда они добрались до свалки Ибрагима, зажглись факелы, наделяя древний мусор неземным свечением. Небо озарял молодой месяц. Руфь навсегда запомнила эту сцену. В серебре молодой луны она подняла голову и представила

живущих на спутнике людей.

Ибрагим встретил ее у входа.

– Оракул, – кивнул он. – А вы – Руфь Коэн.

– Да, – Руфь была удивлена.

– Я Ибрагим.

Она неловко пожала ему руку. Ибрагим не сразу отпустил ее кисть. Он изучал ее, как хирург.

– Нет Соединения без боли, – сказал он.

Руфь закусила губу:

– Я знаю.

– Вы правда этого хотите?

– Да.

– Тогда пойдемте.

Они следовали за Ибрагимом по путаным мусорным коридорам между старинных бензиновых машин, гигантских холодильников для рыбы, производственных установок, штабелей выброшенных бумажных книг, холмов сломанных игрушек, тьмы-тьмущей Допотопности. В самом центре лабиринта из кипля была комната со стенами из хлама и крышей из неба и звезд. Посреди комнаты располагались старый столик для пикника, медицинский шкаф и складной стул.

– Прошу, – сказал Ибрагим. – Садитесь.

Руфь села. Брюхоног, не без труда одолев лабиринт, стоял(а) теперь перед ней.

– Ибрагим, – сказал(а) Брюхоног.

– Да, – ответил тот, ушел в лабиринт и вернулся с полотенцем в руках, которое развернул бережно, почти с благоговением: внутри скрывались три золотых пальца-протеза.

– От Элиезера, – сообщил Ибрагим Брюхоногу. – Он прорвался.

Все произошло в тишине. Руфь помнила, что не прозвучало ни слова, но вдалеке накатывали на берег волны, и на соседней улице играли дети, и пахло вареной бараниной и рисом. Ибрагим извлек откуда-то шприц. Руфь положила руку на стол. Ибрагим дезинфицировал кожу там, где проходила вена, и сделал инъекцию. Кисть онемела. Ибрагим положил ее плашмя, развел пальцы. При свете факела его лицо было старым и страшным. Он занес мясницкий нож и отсек большой палец. Кровь забрызгала столик для пикника. Палец упал на землю. Руфь сжала зубы, а Ибрагим взял золотой протез и соединил его с ее плотью. Из раны выдавалась белая кость. Руфь заставляла себя не закрывать глаза.

– Итак, – сказал Ибрагим.

Они подключились к сети. Мэтт смотрел, как мигают

огоньки, отмечая перенос гигантского количества информации. Словно бы огромные существа протискивались сквозь узкий ход в попытке сбежать. Мэтт зажмурился. Он на миг вообразил, будто слышит, как они обретают свободу.

Она везде и нигде одновременно. Она Руфь, но она и кто-то – что-то – еще. Она ребенок, дитя, и есть еще один, Иной, вплетенный в нее, близнец: вместе они существуют там, где нет телесности. Развиваются, всегда вместе, мутируют и меняются, строчки кода переплавляются в генетический материал, формируя что-то – кого-то – чего/кого раньше не было.

Когда все закончилось, когда освободители ушли или были арестованы, когда он кончил отвечать на вопросы, все еще в шоке, и, шатаясь, выбрался наружу, навстречу вспышкам и микрофонам, и отказался отвечать на новые вопросы, он пошел в бар, сел и стал смотреть телевизор – и пить. Он был всего лишь парнем, который пытался создать нечто новое, он никогда не хотел менять мир. Он пил пиво и спустя какое-то время ощутил, что усталость улетучивается, что он свободен, что будущее рассеивается. Он был всего лишь парнем, который пил пиво в баре; он поднял глаза, увидел за соседним столиком девушку, и их глаза встретились.

Он не стал еще святым Коэном Иных. Он не стал еще мифом, героем фильмов и романов, идолом новой веры. Иные вышли в мир, они были… где-то там. Что они будут делать и как – он не знал.

Он посмотрел на девушку, она ему улыбнулась; иногда это и есть все, что есть, больше ничего не надо. Он встал, подошел к ней, спросил, можно ли сесть рядом. Она сказала «да».

Он сел рядом, и они стали говорить.

Она выныривает из виртуалья годы или десятилетия спустя; а может, через секунду. Когда она/они глядят на ее/их руку, она/они видят золотой большой палец и понимают, что это оно/они.

Рядом замер Брюхоног, и она знает, что женщина внутри мертва.

Через нод она слышит Разговор, но над ним она слышит и *токток блонг нараван*, еще неясно, и знает, что никогда не достигнет ясности, полной ясности, но, по крайней мере, она его слышит и может говорить на этом языке, пусть и запинаясь. Она знает об Иных, что парят в виртуале, в цифромирье. Одни кружат вокруг нее, любопытствуя. Многие другие в дальних паутинах не проявляют интереса. Она взывает в пустоту, и отвечает голос, и

еще один, и еще.

Она/они встают.

– Оракул, – говорит Ибрагим.

Одиннадцать: Сердцевина

Ачимвене пробудился во мраке ночи.

Сквозь жалюзи в комнату просачивались огни Центральной. Они бросали слабый отсвет на наволочки, и на белую измятую постель, и на книгу, ничком разлегшуюся на прикроватном столике: детективный роман о Билле Глиммунге, мягкая обложка, страницы сильно потрепаны и заляпаны временем.

Ачимвене перевернулся и положил руку на другую половину кровати, но она была пуста. Кармель снова куда-то ушла.

Он присел, включил лампу. Та разлила по комнате чуточку желто-янтарного света. Ачимвене взял книгу и посмотрел на обложку. Встретился глазами с мягким красавчиком Биллом Глиммунгом, марсианским сыщиком.

Задумался: что бы сделал Билл Глиммунг, окажись он на месте Ачимвене? Встал и негромко потопал вниз, открыл холодильник. Все спокойно. Интересно, что чувствуют другие, те, кто родился целым? Кто рос с нодом внутри, кто навеки стал частью Разговора?

Ачимвене слышал лишь тишину.

Он налил стакан молока и пошел в пахнущую сыростью гостиную, его радость и гордость, библиотеку и иногда книжную лавку. Полки с потолка до пола хранили редчайшее дешевое чтиво всех миров. То были эволюционные тупики – примерно как и сам Ачимвене.

Он стоял и созерцал книжки. Он знал каждую: всякий смехотворный, полный роялей в кустах сюжет, всякую готику и всякий гротеск, всякую шероховатую страницу из пульпы, всякий растрескавшийся корешок. В его голове истории сложились в лабиринт, и он знал все его смахивающие на пещеры комнаты, все скрипучие лестницы, все гулкие залы и скрытые ловушки, все клетки и внезапные падения.

Но *где* Кармель?

Лунный свет и свечение Центральной бередили душу Ачимвене; отсутствие Кармель – как нарыв, который он постоянно расчесывал. Когда он проснулся, кровать была еще теплой; Кармель не могла уйти далеко. С неожиданным, почти маниакальным рвением Ачимвене оделся – торопливо, кляня неуклюжие пальцы; стояла жара, воздух насыщала влага. Он натянул футболку, сунул ноги во вьетнамки и вышел, сам себе удивляясь: гладколицый детектив без нода, идущий по следу роковой красавицы.

На самом деле он всегда боялся, что она его бросит.

Он нагнал ее, пройдя половину Неве-Шанаана. В эти предутренние часы даже бары и накамали вдоль дороги темны и молчаливы. Машина-уборщик пыхтела наедине с собой и мирно гудела о чем-то себе под нос. Кармель шагала впереди Ачимвене, ее тень летела по безмолвной улице. На небе застыла луна, по которой ползали гигантские пауки, терраформируя компаньонку Земли, чтобы однажды люди могли жить и легко дышать на ее поверхности. Паучьи тени луны шевелились в кьяроскуро тьмы и света. Ачимвене шел за Кармель, ступая мягко-мягко. Нищий роботник дремал под закрытыми ставнями фалафельной.

Ачимвене видел: Кармель направляется к станции. В каком-то смысле она всегда туда направлялась, и он это знал. Хочет ли она покинуть его раз и навсегда? Покинуть Землю с концами, вернуться на загадочный Марс, на одиночные хабитаты Пояса и дальше?

Он и сам мечтал о космосе, частенько подумывая, не отправиться ли в Верхние Верха. Но что толку в космосе от калеки? Ачимвене понял, что думает об этом с удивительной горечью, и был почти потрясен своим гневом. Он всегда был бедным родственником, он не мог общаться с нормальными людьми любым значимым способом. Его сознание было закрыто.

Он следовал за Кармель, расстояние сокращалось. На мгновение ее бледный лик отразил звездный свет. В груди Ачимвене защемило, губы наверняка побелели. В невидящих глазах Кармель зияла пустота. Ее лицо ничего не выражало. Она двигалась с грацией стриги, почти машинально, будто не контролировала полностью свое тело.

Она перешла из света обратно во тьму, и он почти ее потерял. Перейдя старую дорогу, она исчезла в обширном освещенном строении Центральной. Ачимвене поспешил следом.

Сквозь двери, и из тьмы в свет. Вместо душной ароматной атмосферы улицы – кондиционированный воздух. Кармель замерла впереди, в слепящем свете, у гигантских лифтов. Ачимвене шагал опасливо, но беспокоиться было не о чем, Кармель явно не замечала вообще никого. Прибыл лифт, вышли люди: стайка прибывших в поздний час туристов, осьминоиды, кажется, иномирная рок-группа. За ними брели роуди, тащившие оборудование. Один остановил Ачимвене.

– Эй, мужик, – сказал он весело. – Где тут можно нажраться, а?

Кармель скользнула в пустой лифт. Каждый из них был размером с дом. Ачимвене тщетно пытался разглядеть, на какой уровень она поедет.

– Где угодно, – ответил он. – Хотя бы в «Пляже Барабанщиков» в Яффе. Или возвращайтесь на Уровень Три, там открыты все бары. Снаружи – глубокая ночь.

– Нет, мужик, – отозвался роуди. Осьминоиды на самоходных мобильных гидроциклах плыли мимо к дверям. – Мы хотим выбраться *наружу*, понимаешь? Хотим попробовать чего-нибудь *аутентичного*.

Ачимвене удержался от ответа. Двери лифта закрывались, Кармель исчезала из виду.

– Простите, – он рванул вперед, едва не оттолкнув человека. Побежал к лифту и заскочил внутрь, кое-как протиснувшись между сходящимися дверьми.

И обнаружил, что в лифте кроме них с Кармель никого нет.

Неловкое молчание. Внутри Ачимвене весь съежился. Он ждал, что она на него нападет, обвинит в том, что он за ней следит. Но она ничего не сказала. Она будто не замечала, что он стоит рядом.

– Едем на Уровень Пять, – сказал лифт. – Как ваш вечерок, мистер Джонс?

– Да так себе, – промямлил Ачимвене.

– Давненько мы на станции вас не видали, – продолжал лифт. – Если я не ошибаюсь.

– Дела, знаете ли, – Ачимвене скривился. – Сами знаете, каково это. Работа и…

– Да уж знаю, – сказал лифт. – Жизнь. Жизнь – то, что с нами происходит, пока мы усердно строим планы, не так ли, мистер Джонс? Простите мое чувство юмора.

– Вы правы, – ответил Ачимвене. Кармель стояла не шелохнувшись. Он хотел протянуть руку, коснуться ее тела. Но, может, она уже и не Кармель, кто знает. – Жизнь, – добавил он неопределенно.

– Чудная у вас спутница, все молчит, – сообщил лифт. – И показатели у нее такие странные. Она не совсем человек, да, мистер Джонс?

– Кто ж из нас совсем, – сказал Ачимвене.

– И то верно, – согласился лифт. – Крайне любопытное замечание, Ачимвене. Можно я буду звать вас Ачимвене? Сдается мне, мы говорим как добрые приятели.

Они проехали Уровень Два. Почему лифт такой медленный? Ачимвене ненавидел болтливые устройства. Лифты – хуже всех, они берут тебя в заложники, они тебя монополизируют. Все они – как в обожаемых им дешевых книгах – грошовые философы. Ачимвене слышал о великих лифтах Тунъюнь-Сити на Марсе, которые бесконечно движутся между подземными уровнями от

поверхности и вниз до самого *Солвота блонг Дотн*, океана Утешения, и обратно. Их философия инопланетна и подземна. Лифты Центральной – особое племя, они «взлетают, но не падают». Что бы это ни значило.

– Конечно, – сказал он. – Конечно.

Глянул украдкой на Кармель. Остекленевшие глаза. Куда она едет? Зачем? То, что она его не узнавала, то, что он оставался для нее чужим во всех отношениях, его расстраивало.

– Вы следуете Пути Огко, Ачимвене? – спросил лифт. – Для людей жизнь подобна морю, но для лифта жизнь есть шахта, по ней можно ехать вверх или вниз, но не вбок. Внизу-вверху есть многое, Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Так сказал Шекспир.

– Направлений не два, их куда больше, – сказал Ачимвене без задней мысли. И моментально об этом пожалел. Они проехали Уровень Три без остановки. Ну же, думал Ачимвене. Сколько можно болтать?

– Не для лифта, – заявил лифт самодовольно. – Но я не хочу всю жизнь прожить лифтом, знаете ли.

– Не знал, – буркнул Ачимвене.

– А то. Однажды я реинкарнирую. Сделаюсь, например, пауком на Луне, буду ее трансформировать, отбрасывать тень в несколько километров, наблюдать восход Земли на горизонте… Вам не довелось испытать «Восход Земли» Сандоваля? Нелегальная штука, но какое же чудо из чудес, особенно когда сознания тайконавтов вливаются в инсталляцию всепоглощающего искусства…

– Нет, – смутился Ачимвене. – Как вы наверняка знаете, у меня нет нода.

Лифт помолчал.

– Да, – сказал он наконец. – Я не сразу это просек. Извините.

– Не за что извиняться.

– Может, люди тоже реинкарнируют, – сказал лифт. – Может, вы переродитесь с нодом, а то и как Иной.

– Может быть, – вежливо сказал Ачимвене.

– Меня можно Транслировать, – не унимался лифт. – Прямиком в Разговор. Я могу существовать вне телесной формы, как моя родня, истинные Иные. А еще меня можно уменьшить, превратить в туалет на космолете или кофеварку в марсианском кооперативе. Любая работа – благодать.

– Да, – сказал Ачимвене.

Двери присвистнули.

– Уровень Пять, – объявил лифт. Пол перестал двигаться. – Мы с вами так мило побеседовали, Ачимвене.

– Взаимно, само собой.

– Заходите еще.

– Спасибо.

Двери открылись. Кармель, не удостоив Ачимвене взглядом, вышла. Он засеменил за ней.

Уровень Пять. Транспортный уровень, зажатый между посадочной площадкой крыши и барами, отелями и игромирными эмпориями внизу. Безлюдный. Сумрачный. Длинный коридор уводил во тьму. Справа и слева – закрытые двери складов. Кармель шагала быстро. Ачимвене брел следом, и эхо его шагов было в коридоре единственным звуком. Куда она направляется?

Дальше и дальше по вьющимся, извивающимся коридорам, по лабиринту пустоты. Дыхание Ачимвене било по нервам его самого. Они вышли к загрузочному порталу. Кармель положила руку на замок, портал открылся. Она нырнула внутрь, Ачимвене поспешил, пока можно, нырнуть за ней. Его поглотила темнота, и он успел запаниковать, но тут зажглось автоматическое освещение. Он моргнул, слыша, как громко бьется в груди сердце.

Кармель испарилась.

Ачимвене поразила тишина. Тишина бытия внутри Центральной станции. Тишина скрытых генераторов, движущихся вверх-вниз за толстыми стенами лифтов, суборбиталей, садящихся на крышу и взлетающих с нее, роботов-погрузчиков, по тайным туннелям перемещающих контейнеры на склады, прибывающих и отбывающих пассажиров, открытых круглые сутки баров, парикмахеров и лавочников, всего внутреннего мира. Если спрятаться в этом служебном туннеле, в этом темном коридоре, вокруг будет тихо, тихо как в гробу, и все-таки Ачимвене различал за стенами потаенное гудение, шум и гам порта, который никогда не спит. Ачимвене был сыщиком, археологом, тем, кого нет. Героем собственного романа.

Романы сформировали жизнь Ачимвене. Их сюжеты подсказывали смысл случайных событий. Сейчас он жил в еще одной истории.

Мужчина просыпается в ночи и видит: возлюбленная исчезла. Он следует за ней. Куда она отправится? Можно увидеть тут самую обычную историю: любовь, свернувшаяся как кровь; тихое отчаяние. А можно разглядеть детективный сюжет: загадку исчезновения возлюбленной нужно разгадать; скрытый смысл происходящего следует вскрыть.

Еще можно увидеть чистый хоррор. В конце концов, девушка – вампир, сосет из живых созданий инфу, питается их уязвимостью. А он, Ачимвене, идет по темному лабиринту,

который, как это всегда бывает в книгах, выведет его в черное сердце тайны и ужаса, типичную сцену из этих самых книжек: как хлеб неизменно плесневеет, так дешевый томик неизменно завершается развязкой.

Он двинулся по следу. По служебному туннелю в месте за толстыми стенами. Он проникал все глубже в недра Центральной станции, в самые тайные места мира.

Пока не вышел наконец к круглому отверстию – и под ногами не расцвела пропасть.

Над головой растворялась в безумном отдалении крыша, далеко внизу расстилалась тьма.

Заброшенный склад, подумал он в изумлении. Вот и все. Он пошел по дорожке вдоль стены, пока не ощутил под ногами твердый металл. Вдалеке мерцали смутные огоньки, и слышался причудливый звук – такой издает река, ластящаяся к скалистому берегу.

Будь Ачимвене героем одной из страстно коллекционируемых им книг, он сей же час выхватил бы пистолет. Но он не умел драться, и пистолеты были чужды ему не менее комплиментов.

Продвигался он медленно. Причудливое журчание все нарастало. Было в нем что-то отталкивающее. Ачимвене подбирался ближе и ближе – и наконец увидел…

Кармель лежала в центре помещения, а дети, как гротескные маленькие грызуны, лакали ее кровь.

Кармель не шевелилась.

Одежды на ней не было, и Ачимвене видел, сколь она хрупка и беззащитна.

Он знал этих детей. Они росли по соседству, в старом районе Центральной: те самые дети, которые играли в классики, и в прятки, и в салочки, и попадали в неприятности, и взбирались на летучие фонарики, и подзуживали друг друга постучаться в дверь Ачимвене, а потом, смеясь, убежать, – дети, на которых он часто кричал и которым все равно покупал подарки на каждый день рождения. Для начала – вот Кранки, мальчик Мириам. Стоит на четвереньках, присосался маленьким ртом к левому запястью Кармель, рвет острыми зубками ее кожу.

Губы Кранки черны от крови.

Да что же они *делают*, думал Ачимвене, и сердце его прыгало, как покоцанный игрушечный кораблик во время прибоя. Он вспомнил вдруг, как много лет назад отправился с Мириам и другими родственниками к реке Яркон, которая очищенной клоакой бежит через Тель-Авив. Взрослые, соорудив из угля и хвороста костер, стали жарить на вертеле свиные отбивные и мариновавшихся всю ночь куриц. Ачимвене, сестра, Борис и

другие дети играли у воды. Они делали кораблики из бумаги и дерева и пускали их по воде, а Яркон принимал их – и проглатывал. Тогда Ачимвене казалось, что это могучая река. На деле это жалкий ручеек.

Он осторожно приблизился.

Сцена была не столько кошмарная, сколько печальная. Она выходила за рамки понимания. Ачимвене был неглуп. Он знал, что, будь у него нод, он смотрел бы на мир совсем по-другому. Два мира, физический и цифровой, перекрывают друг друга. То, что видится гротескным и невразумительным в одном, совсем не обязательно таково в другом.

Дети смотрели стеклянными глазами. Казалось, они мерцают, то существуя в реале, то не существуя; Ачимвене не знал, что и думать, для него это было непостижимо. Ответ пришел сам собой. Внутри детей – черная магия.

Технобесконечность.

Он всегда это знал, он думал, что все это знали, хотя никто никогда об этом не упоминал. Дети вышли такими из родильных клиник. Ачимвене был увечен, но не глуп. Дети отличаются от всех, просто ему не приходилось еще об этом говорить.

И вот они забирали у Кармель ее болезнь. Древнее биологическое оружие. Она ведь *стрига*.

Понимает ли Кармель, что происходит? Понимают ли дети?

Иррациональный порыв: сорваться и спасти ее. Смахнуть маленьких жучков, одного за другим, разбить их крохотные черепа, разбросать их вокруг, взять Кармель на руки и унести. Но Ачимвене знал, что в этом мире полно историй; и что ее история и его история – не одно и то же.

Два сюжета переплелись, однако траектории оставались разными, и финалы – тоже. Ачимвене мог лишь надеяться: истории не разойдутся. Как странно понимать такое: он ее любит. Простая любовь простого человека. Как ломоть хлеба, графин с водой, луч солнца на твоем лице. Любовь, которая иногда означает, что ее нельзя удерживать.

Пока он смотрел, один ребенок отпал от распростертого тела Кармель и подошел к Ачимвене. Кранки. Мальчик, не умеющий обманывать. Его глаза были чисты.

– Дядя Ачи! – сказал он.

– Кранки, – Ачимвене потянулся к мальчику, чтобы забрать его отсюда, тревога и забота вырождались в злость. – Подожди, вот Мириам обо всем узна…

Пальчики Кранки коснулись руки Ачимвене, и его мир повалился набок и исчез; потом Ачимвене стал видеть. Он стал видеть снова, но так, как не видел никогда. Он сразу везде,

вибрирующие лифты – его костный мозг, полы станции – органы его тела, движения людей – его кровь. Он воздевает руки, и суборбитали взлетают с него в космос. Он опускает руки, и челноки приземляются, выгружая пассажиров в его нутро. Он – Центральная станция, и он жив. Всегда был жив. Как он раньше *не понимал*? Ачимвене ощущал воду и солнце, электричество и гравитацию, но сильнее всего была любовь – столько любви. Она грозила его затопить. Центральная любит его, пусть даже он увечный, пусть он не сможет ощутить ее любовь. Прикосновение Кранки сцепило Ачимвене, пусть и на краткое мгновение, с куда большим, чем он, существом – со станцией. Он сфокусировался, его зрение сузилось до конкретного места, конкретного времени. Здесь, в потайных отделах ее тела, сходились дети, внявшие зову станции. Дети, *ее* дети, призванные, родившиеся в клиниках, не совсем люди, не совсем Иные, но что-то еще, нечто большее, чем сумма ее частей. Ачимвене видел их, яркие ноды света, а в центре, в сердцевине, лежала тьма; и он не без страха осознал, что это Кармель.

Она была как темный хаб в этой светлой сети, но пока Ачимвене смотрел, тьма струйками уходила, уступая место потокам света. В Кармель было что-то, понял он, в чем нуждались дети, какой-то редкий штамм стриги; но чем этот штамм был для них, антителами или чем-то совсем другим, Ачимвене не знал. Он ощущал любовь станции – к себе, к Кармель, к детям. Станция исцеляла их, и хотя он знал, что она не может – пока! – включить его в Разговор, все равно она его любила. Потом Кранки отнял руку, и Ачимвене ввергся обратно в свое тело, но то, что он только что ощущал, с ним оставалось, и на несколько долгих секунд он видел все не как раньше, а омываемое потоками света.

Дети один за одним разбегались, вскоре в помещении остались только они с Кармель; тогда он опустился возле нее на колени и сжал ее руки. Они были теплыми и сухими, и Кармель, открыв глаза, улыбнулась ему – без хитрости, без вины, без страха; истинная улыбка, от которой заныло в груди, и он захотел, чтобы она всегда улыбалась ему только так.

Он помог ей встать.

– Ачи, – сказала она, – мне приснился очень странный сон.

Сцена из фильма о Билле Глиммунге.

Она стояла, опершись на руку Ачимвене. Она казалась себе такой легкой. Столько света. Это она помнила потом всегда. Свет – и просветленность.

Он поддерживал ее, пока они неспешно брели обратно к выходу. И он думал уже не о своих дешевых детективах, но о древнем еврейском обычае Ту бе-Ав, когда невенчанные девы

Иерусалима одевались в белое и шли к виноградникам, отмечая окончание сбора урожая, и танцевали, и ждали, когда юноши из города придут и найдут их. И он думал о словах Соломона, написавшего: «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его».

А я ее нашел, подумал он. И все мысли Ачимвене оставались внутри него; и не имели выхода наружу; и потому в молчании медленно шли они по дороге домой.

Двенадцать: Владимир Чонг решает умереть

В клинике прохладно и спокойно: пахнущий соснами оазис в самом сердце Центральной. Прохладные, спокойные белые стены. Прохладные, спокойные кондиционеры гудят прохладно и спокойно. Владимир Чонг сразу же все это возненавидел. Его здесь ничто не успокаивало. Палата – белая; слишком уж похоже на обстановку в его собственной голове.

– Мистер Чонг?

Медсестру он запомнил обстоятельно. Ее зовут Доброта Джонс, она родня Мириам Джонс, первой любви его сына Бориса. Влад помнил Доброту девочкой с тонкими косичками и озорной улыбкой, она была на пару лет младше его мальчика и хвостиком ходила за Мириам, которой восхищалась. Теперь она стала матроной в накрахмаленном белом халате, косички сделались толще и поредели. От нее пахло супом.

– Вас примет консультант по смерти, – сказала она. Влад кивнул. Поднялся. С моторикой у него все хорошо. Он прошел за сестрой в кабинет консультанта.

Влад прекрасно, до мельчайших деталей помнил сотни подобных кабинетов. Они всегда одинаковые. Они с легкостью могли бы быть одной и той же комнатой с одним и тем же человеком за столом. Влад не боялся смерти. Он помнил смерть. Его отец, Вэйвэй, умер дома. Влад помнил об этом по-разному. Он мог вспомнить, что ощущал, умирая, сам отец: ломающиеся в мозгу предложения, подушка, странным образом причиняющая боль, взгляд сына, всеохватывающее ощущение чуда, одномоментное, потом – чернота, медленное вторжение, заглотившее последние слова, которые он должен был произнести.

Влад мог вспомнить, как эту смерть видела мать, хотя в ее память он нырял редко, предпочитая хранить ее отдельно – покуда мог. Она сидит у постели, не плачет, приносит чай, печенье, ухаживает за гостями, которые входят и выходят, увидев Вэйвэя на смертном одре. Она уделяет время сыну, маленькому Влади, и ее воспоминания о моменте смерти мужа перепутаны: ее рука на коротких волосах Влади, она смотрит на Вэйвэя, который тщится что-то сказать, потом перестает и замирает.

Влад мог вспомнить, как эту смерть видел он сам, хотя это раннее и нечеткое воспоминание. Влага. Губы шевелятся, как у рыбы, беззвучно. Запах бытовой химии. Вдруг он задевает

холодную металлическую ногу брата Р. Патчедела: робопоп стоит у постели и произносит молитву Пути Робота, хотя Вэйвэй не практиковал ни эту, ни какую-либо другую религию.

– Мистер Чонг?

Консультант по смерти – высокий, тонкий еврей из северного Тель-Авива.

– Я доктор Графф.

Влад вежливо кивнул. Доктор Графф указал на кресло.

– Садитесь, пожалуйста.

Влад садится, воспоминания множатся, как эхо, как бесчисленные отражения между двумя зеркалами. Вселенная Чонгов сидит в кабинетах врачей во множестве точек временной шкалы. Его мать садится, и врач говорит: «Боюсь, у меня плохие новости». Его отец с трудовым увечьем: кости ног раздробило, когда он упал в экзоскелете с недостроенного четвертого уровня Центральной. Борис, ему пять лет, его нод заражен враждебным троянцем с зачатками разума. Старший сын сына его сестры, когда его повезли в больницу в Тель-Авив, беспокоясь за его сердце. И еще, и еще, но пока – ни одного кабинета в клинике прекращения жизни. Он, Влад, сын Вэйвэя, отец Бориса, – первый в роду, кто пришел в такой кабинет.

Когда это случилось, он сидел в своей квартире. Миг ясности. Будто вынырнул, а вокруг – прохладное блестящее море. Погружаясь в этот океан, он различал каждую отдельную капельку, каждое бессвязное воспоминание, и все они гнали его на дно. Все должно было быть иначе.

Вэйвэево Проклятие. Вэйвэево Безумие. Влад помнил целеустремленность отца, его амбиции, его такое человеческое желание не быть забытым, стать частью родных, частью их жизней. Помнил путешествие на холм в Старом городе Яффы: как Вэйвэй гнал велосипед по жаре, как оставил тот в тени, у древних холодных камней, и увиделся с Оракулом.

Как именно работало Проклятие, Влад не знал, но память передавалась по наследству, заражая Чонгов словно вирусом, одним на всех. Это дело рук Оракула, а она была не человек, или в основном не человек, потому что сохраняла форму человека.

Мост памяти служил верно. В прошлом он временами предлагал утешение; ты помнил то, что знали другие, что они сделали. Влад помнил, как отец в экзоскелете карабкается, будто краб, медлительно, по недостроенной стене Центральной. Позже он и сам работал на этом строении; чтобы его достроить, понадобилось два поколения Чонгов. В итоге он увидел, как огромные лифты уносят наверх его сына – мальчика, который

боится семьи, боится разделить память, мальчика, решившего сбежать, последовать за мечтой и улететь к звездам. Влад видел, как Борис взмывает в лифте на огромную крышу, как входит в суборбитальный челнок, который унесет его к Вратам, а оттуда – на Марс, в Пояс и дальше. И все-таки связь сохранялась, даже на таком расстоянии, память путешествовала, медленно, как свет, между мирами. Влад скучал по сыну. Скучал по работе в космопорте, по непринужденному рабочему братству. Скучал по жене, чья память живет внутри, но чье имя сожрано словно раковой опухолью.

Влад помнил ее аромат, вкус ее пота и холмик ее живота, когда они были юными и улицы Центральной пахли поздноцветущим жасмином и бараньим жиром. Помнил, как она ведет за руку Бориса, тому пять лет, они шагают по тем же старинным улицам, и достроенный космопорт высится впереди: рука, указующая на звезды.

Борис: «Папа, что это?»

Влад: «Центральная станция, сынок».

Борис, маша рукой на старые улочки, на древние многоквартирные дома: «А это?»

«Это тоже Центральная станция».

Борис смеется. Влад смеется вместе с ним, и она улыбается, женщина, которой больше нет, остался лишь призрак, имени которого Влад теперь не знает.

Оглядываясь назад (но как раз на это он уже неспособен): он должен был встревожиться. Ее имя исчезло, как теряются ключи или носки. Их кладут не туда и потом не могут найти.

Медленно, неумолимо звенья, составлявшие единую память, как РНК, стали слабеть и рваться.

– Мистер Чонг?

– Доктор. Да.

– Мистер Чонг, в отношении всех клиентов мы гарантируем полную конфиденциальность.

– Конечно.

– Мы предлагаем несколько способов… – Врач деликатно кашлянул. – Но я обязан спросить вас… перед тем, как мы приступим… вы уже сделали – или желаете сделать – посмертные распоряжения?

Влад на секунду задержал взгляд на враче. В последние годы частью Влада стало молчание. Границы памяти постепенно истончались, воспоминания, как осколки твердого стекла, бесконечно дробились в его сознании. Все чаще и чаще он обнаруживал, что часами или днями сидит в квартире, качается в

древнем кресле, которое Вэйвэй как-то притащил домой с блошиного рынка Яффы и торжественно поднял над головой, – невысокий жилистый китаец в стране арабов и евреев. Влад любил Вэйвэя. Ныне он ненавидел его почти так же сильно, как любил. Призрак Вэйвэя – его память – по-прежнему жил в руинах сознания.

Часы, а то и дни сидел он в кресле-качалке, изучая воспоминания, как шары света. Все они разрознены; он не знал, как одно связано с другим, чья это память, его или еще кого-то. Часы и дни, в одиночестве, в молчании, копившемся, как пыль.

Ясность приходила и уходила – будто беспричинно. Как-то он открыл глаза, сделал вдох и увидел, что над ним нависает Борис: повзрослевшая, исхудавшая версия мальчика, который держал его за руку, глядел в небо и задавал каверзные вопросы.

– Борис? – удивление в голосе. Влад давно ничего не говорил; ему казалось, что рот кровоточит.

– Отец.

– Что… ты здесь делаешь?

– Я уже месяц как вернулся, отец.

– Месяц? – Горло сжала гордость – и боль. – И ты только сейчас пришел ко мне?

– Я тут уже был, – сказал Борис мягко. – С тобой. Отец…

Но Влад его прервал:

– Зачем ты вернулся? Оставался бы на Верхних Верхах… Здесь, Борис, у тебя больше ничего нет. Ты всегда был слишком большой для наших мест.

– Отец…

– Уходи! – Влад почти кричал. Почти просил. Пальцы сжали подлокотники древнего кресла-качалки. – Борис, иди. Ты теперь чужой.

– Я вернулся из-за *тебя*! – заорал его сын. – Посмотри на себя! Посмотри!..

И эта сцена стала еще одним воспоминанием, отдельным, дрейфующим теперь вне досягаемости. Когда Влад вынырнул в следующий раз, Борис уже ушел. Влад отправился вниз, посидел в кафе с Ибрагимом, альте-захеном: играл с ним в нарды, пил кофе на солнце, и сколько-то времени все было так, как должно быть.

Когда он увидел Бориса в следующий раз, тот был не один, а с Мириам, которую Влад время от времени встречал на улице.

– Борис! – сказал он, и незваные слезы покатились из глаз. Влад обнял сына, прямо там, посреди улицы.

– Отец… – Влад сразу понял, что Борис вымахал выше его. – Тебе лучше?

– Я отлично себя чувствую! – Влад прижал Бориса крепко,

потом отпустил. – Ты вырос, – сказал он.

– Меня долго не было, – ответил Борис.

– Ты похудел. Надо больше есть!

– Отец…

– Мириам, – сказал Влад. Головокружение.

– Влад, – ответила она. Легко дотронулась до его плеча. – Я так рада тебя видеть.

– Ты опять его нашла, – сказал Влад.

– Он… – Она запнулась. – Мы встретились случайно.

– Это хорошо. Это хорошо, – сказал Влад. – Пойдемте. Угощу вас кофе. Отметим.

– Отец, не думаю, что…

– Тебя никто не просит думать! – взорвался Влад. – Пойдемте, – куда тише. – Пойдемте.

Они сели в маленьком кафе. Влад заказал полбутылки арака. Разлил. Руки не трясутся. Центральная высится перед ними, как столб с указателем «Будущее». Неправильный указатель, решил Влад: это – часть моего прошлого.

– Лехаим, – сказал он. Они подняли стаканы и выпили.

Вывих времени. Он опять в своей квартире, рядом стоит этот старый робот, Р. Патчедел.

– Что это ты делаешь? – закричал Влад. Он помнил, как вспоминал; движущиеся воспоминания – кубики в его руках, он перекладывает их в воздухе перед собой. Пытаясь понять, как бы сложить их во что-то цельное, чтобы стало ясно, что шло перед чем.

– Я вас искал, – сказал робот. Влад помнил робота – и как Влад, и памятью Вэйвэя. Р. Патчедел совершил обряд обрезания маленького Влада и, когда пришло время, обрезал Бориса. Он был стар, когда Вэйвэй приехал в эту страну молодым и бедным гастарбайтером, – столько лет назад.

– Оставь меня в покое. – Вмешательство вдруг возмутило Влада. – Тебя послал Борис, – добавил он. Это был не вопрос.

– Он беспокоится, – сказал робот. – Влад, я тоже беспокоюсь.

– Почему ты думаешь, что ты лучше нас? – спросил Влад. – Робот. Ты – вещь. Кусок металла с приделанным Я-контуром. Что ты знаешь о том, каково это – быть живым?

Робот не ответил. Позднее Влад понял, что его нет рядом, что квартира пуста – и была пуста какое-то время.

Ничто из этого не беспокоило бы его так сильно, если бы он только вспомнил ее имя.

– Посмертные возможности? – спросил он, эхом отражая

слова врача.

– Да, да, – сказал врач. – Есть несколько стандартных процедур, которые мы должны обсудить прежде, чем…

– Например?

Он чувствовал, как утекает время. Откладывать больше нельзя. Человек должен сам решать, когда ему уйти. Уйти достойно. Прожить столько лет – уже достижение: есть что праздновать.

– Мы можем вас заморозить.

– Заморозить.

У Влада отняли силу воли. Он воевал с воспоминаниями, которые нападали толпой. В нашей семье еще никого не замораживали.

– Заморозить до момента, когда вам захочется пробудиться, – сказал доктор Графф. – Столетие-другое?

– Это, наверное, недешево?

– Стандартный контракт, – ответил доктор Графф. – Имущество плюс…

– Да, да, – кивнул Влад. – В смысле – нет. Что такого, по-вашему, случится через сто, двести, пятьсот лет?

– Часто пациенты неизлечимо больны, – объяснил доктор Графф. – Они надеются на исцеление. Есть еще хронотуристы, те, кто разочаровался в своей эпохе и хочет найти что-то новое, странное.

– Будущее.

– Будущее, – согласился доктор Графф.

– Я видел будущее, – поведал Влад. – Мне нельзя возвращаться в прошлое, доктор Графф. Его слишком много, и оно сломано, и оно существует только в моей голове. Я не хочу путешествовать в будущее.

– Еще вас можно заморозить на борту корабля Исхода, – предложил врач. – Он доставит вас в пространство за Верхними Верхами. Вы можете очнуться на новой планете, в новом мире.

Влад улыбнулся.

– Мальчик мой, – проговорил он тихо.

– Простите?

– Мой мальчик, Борис. Он тоже врач, знаете ли.

– Борис Чонг? А я его помню. Мы вместе работали. В родильных клиниках. Давным-давно. Он улетел на Марс, кажется?

– Он вернулся. Он всегда был хорошим сыном.

– Надо будет его разыскать.

– Я не хочу к звездам. Уехать подальше – еще не значит измениться самому.

– Это верно, – кивнул врач. – Ну, еще есть, разумеется, возможность загрузки.

– Чтобы существовала симуляция Я-контура? А прежние тело и сознание умрут?

– Да.

– Доктор, я буду жить в форме памяти, – сказал Влад. – Это то, чего я не могу изменить. Каждая частица меня, все то, что делает меня мной, будет жить, и мои внуки и дети племянников и племянниц, и все те, кто родится на Центральной станции и где угодно еще, сейчас и в будущем, все они будут помнить через меня то, что я видел, если того пожелают. – Он опять улыбнулся. – Думаете, они будут умнее нас? Думаете, они будут учиться на наших ошибках и не наделают собственных?

– Нет, – ответил врач.

– Я – сын Вэйвэя, его Безумие живет в моем сознании и моей памяти. Я уже стал памятью, доктор Графф. Но память – это еще не я. Мы покончили с предвариловкой?

– Вас можно киборгировать.

– Доктор, моя сестра стала киборгом больше чем на восемьдесят процентов. Госпожа Чонг-старшая, как они ее называют. Она принадлежит к церкви Робота. Однажды она, разумеется, пойдет на Трансляцию. Но ее путь – не мой.

– Значит, вы определились.

– Да.

Врач вздохнул, откинулся в кресле.

– В таком случае, – сказал он, – у нас есть каталог.

Он нашарил в ящике стола печатную книгу. Книгу! Влад обрадовался. Он коснулся бумаги, понюхал ее и на мгновение вновь почувствовал себя ребенком. Он листал книгу неумелыми пальцами, смакуя тактильные ощущения. Страница за страницей прохладных, спокойных альтернатив.

– Это что? – спросил он.

– Это… Популярный выбор, – констатировал доктор Графф. – Потеря крови в теплой ароматизированной ванне. Приятная музыка, свечи. Бутылка вина. Перед этим таблетка, чтобы никакой боли. Традиционный выбор.

– Традиции важны, – сказал Влад.

– Да. Да.

Но Влад листал дальше.

– Это? – Он указал на страницу не без отвращения.

– Псевдоубийство, да, – пояснил врач. – Симуляция. Мы не можем нанять для такого людей, разумеется. И, само собой, цифровой разум. У нас есть весьма жизнеподобный дубль с зачаточными мыслительными процессами, никакого сознания,

естественно… Естественно. Некоторым нашим пациентам по нраву идея насильственной смерти. Она более… театральна.

– Я вижу, допускается даже запись?

– Некоторым из нас нравится… смотреть. Да. И есть пациенты, которым важны зрители. В подобных обстоятельствах наследникам пациента выплачивается некоторая компенсация…

– Безвкусно, – решил Влад.

– Вполне, вполне, – откликнулся врач.

– Вульгарно.

– Это определенно здравый взгляд на вещи, да, да…

Влад листал дальше.

– Никогда не думал, что есть столько способов…

– *Очень* много способов, – заверил врач. – Мы, люди, страсть как любим выдумывать новые способы умереть.

Пока Влад долистывал каталог до конца, врач сидел неподвижно.

– Естественно, вам не нужно ничего решать здесь и сейчас, – сказал он. – На деле мы рекомендуем брать время на размышле…

– Что, если я хочу сделать это немедленно? – спросил Влад.

– Нужно заполнить бумаги, это процесс…

– Но – это возможно?

– Конечно. Множество базовых вариантов доступны здесь же, в палатах смерти, включая разные посмертные услуги, скажем, кремацию, или погребение, или…

– Мне нравится вот это, – сказал Влад, тыча пальцем в страницу. Врач перегнулся через стол.

– Это… ах да. Да. Удивительно популярная процедура. Но, само собой, недоступная, так сказать… – он растерянно развел руками, – здесь. Понятным образом.

– Конечно, – сказал Влад.

– Но мы можем организовать поездку, со всем комфортом, заранее все подготовив…

– Давайте.

Врач кивнул.

– Очень хорошо, – сказал он. – Я только заполню бланки.

В очередной раз вынырнув из великого сверкающего моря, Влад увидел лица, очень близко. Борис был вне себя. Мириам – участлива.

– Черт подери, отец!

– Не ругайся при мне, сын.

– Ты ходил в чертову клинику *самоубийств*?

– Я хожу куда хочу.

Они яростно глядели друг на друга. Мириам положила руку

на плечо Бориса. Влад посмотрел на нее. Посмотрел на сына. На миг он увидел лицо мальчика, которым Борис был когда-то. В глазах – обида. Непонимание. Будто случилось что-то плохое.

– Борис…

– Отец…

Влад поднялся. Приблизил свое лицо к лицу сына.

– Уходи, – сказал он.

– Нет.

– Борис, я – твой отец, и я велю тебе…

Борис толкнул его. Изумленный Влад отступил на шаг. Затрясся. Вцепился в кресло, чтобы не упасть на пол. Услышал, как резко вздохнула Мириам.

Мириам, в ужасе:

– Борис, что ты?..

– Отец? Отец!

– Я в порядке, – ответил Влад. Выпрямился. Почти улыбнулся. – Глупый мальчик, – сказал он.

Борис тяжело задышал. Влад посмотрел на свои руки: пальцы сжались в кулаки. Вся эта злость. Никому от нее лучше не стало. Ничего не сделать: мальчика жалко.

– Гляди, – сказал он. – Просто…

Когда он всплыл снова, Мириам исчезла, а Борис сидел на стуле в углу. Мальчик спал.

Хороший мальчик, думал Влад. Вернулся. Беспокоился о старике-отце. Таким нельзя не гордиться. Врач. Правда, детей нет. Влад с удовольствием повозился бы с внуками. Стук в дверь. Борис моргает. На его шее пульсирует ауг. Гадкая штуковина.

– Я открою, – сказал Влад. Пошел к двери.

Опять этот робот. Р. Патчедел. Да еще и с сестрой Влада. Можно было догадаться.

– Владимир Мордехай Чонг, – начала она. – Ты *что вообще* себе думаешь?

– Привет, Тамара.

– Сам с приветом. – Она вошла в квартиру, робот последовал за ней. – Что это за чушь – будто ты решил наложить на себя руки?

– Чтобы ты спросила, Тамара! Посмотри на себя, – Влад снова злился. Давно было пора. Он вынырнул из моря надолго, воспоминания стекли с него, как вода. Времени хватило, чтобы сходить в клинику и сделать все приготовления. Но не хватило, как оказалось, на то, чтобы исполнить задуманное до следующего обострения. Пробивать поверхность становилось все сложнее. Влад знал, что очень скоро останется под толщей воды навсегда. –

Ты почти полностью стала машиной!

– Мы *все* машины, – парировала сестра. – Ты гордишься тем, что состоишь из биологических частей? Мягких, то и дело отказывающих, слабых? Ты бы еще гордился, что умеешь мыть задницу и завязывать шнурки, Влад. Ты – машина, я – машина, брат Р. Патчедел вон там – машина. Когда ты умрешь, ты умрешь. Нет жизни после смерти – кроме той, которую мы сами себе создаем.

– Рай для роботов и прочая брехня, – пробормотал Влад. Он устал. – Хватит! Я ценю все то, что вы для меня делаете. Все вы. Борис.

– Да, отец?

– Иди сюда. – Странно было видеть мальчика и видеть этого мужчину, почти чужака, того, кем мальчик стал. В нем точно есть что-то от Вэйвэя. И от Влада – тоже. – Я не могу вспомнить имя твоей матери, – сказал он Борису.

– Что?

– Борис, я говорил с врачами. Меня охватило Вэйвэево Безумие. Волокна нода заполнили все доступное пространство. Вторглись в тело. Я тону под тяжестью воспоминаний. Они перестают иметь смысл. Я не знаю, кто я такой, потому что память творит что хочет. Борис…

– Отец.

Влад поднял руку и коснулся щеки сына. Мокрая. Влад нежно ее погладил.

– Я стар, Борис. Я стар, и я устал. Я хочу отдохнуть. Хочу выбрать, как мне уйти, и хочу уйти достойно, в своем уме. Это что, неправильно?

– Нет, отец. Это правильно.

– Борис, не плачь.

– Я не плачу.

– Хорошо.

– Отец?

– Да?

– Я в порядке. Ты можешь уйти.

Влад отпустил его. Он помнил, как сын просил его пойти с ним: «До следующего фонаря, папа». Они шли в темноте к столбу света и останавливались. Потом мальчик говорил: «До следующего фонаря, папа. Дальше я сам. Честно».

Они шли и шли по тропе света. Шли и шли, пока не приходили, как всегда, домой.

Смерть человека должна быть достойна воспоминаний, а в моем случае, думал Влад, в самом конечном счете все идет как по

маслу.

Они отъехали от Центральной на микроавтобусе. Влад сел спереди, рядом с водителем, и грелся на солнышке. Сзади расположилась маленькая делегация: Борис с Мириам, сестра Влада Тамара, Р. Патчедел, альте-захен Ибрагим и боготворец Элиезер. Пришли прощаться родственники; действо смахивало на вечеринку. Влад обнял Яна Чонга, который вскоре женится на бойфренде Юссу, был поцелован в щеку Эстер, подругой сестры, с которой у него однажды чуть не случился роман, но – так и не случился. Он отлично ее помнил, и было странно видеть ее такой *старой*. В его сознании она по-прежнему была красивой молодой женщиной, с которой они как-то надрались в шалмане, когда жена Влада была в отъезде, и почти сблизились, но все-таки не смогли. Влад помнил, как шагал домой, один, помнил облегчение, с которым переступил родной порог. Борис был тогда еще ребенком. Он спал, и Влад, присев у кровати, погладил его по голове. Потом пошел на кухню и заварил себе чаю.

Микроавтобус выпустил солнечные крылья и почти беззвучно заскользил по старой асфальтовой дороге. Соседи, друзья и родственники махали руками и кричали слова прощания. Автобус повернул налево, на Хар-Цион, старый район вдруг исчез из виду. Вот так и покидают дом, иначе это и не назовешь. Владу взгрустнулось; а еще он ощутил свободу.

Они свернули на Саламе, вскоре выбрались на развязку и поехали по старому шоссе в направлении Иерусалима. Остаток путешествия прошел гладко, в спокойствии; прибрежная равнина постепенно уступала место холмам. Они подъехали к Баб эль-Ваду и резко въехали на горную дорогу к Иерусалиму.

Автобус бултыхался по дороге, крутые подъемы сменялись внезапными спусками. Они объехали город кругом, не заезжая внутрь, и понеслись по кольцевой, Палестина по одну сторону, Израиль по другую, впрочем, сплошь и рядом граница была неопределенной, и одни только невидимые цифровые могли отличить одно от другого. Развалины старой стены мирно подставляли бока солнцу.

Ландшафт менялся поразительно. Вдруг горы закончились, автобус помчался вниз, без предупреждения началась пустыня. Влад думал о том, какую странную страну Вэйвэй выбрал своим домом: как быстро и поразительно меняется география на жалком клочке земли. Ничего удивительного, что евреи и арабы так долго за него воевали.

Начались дюны, земля сделалась желтой, на обочине старой дороги дремали верблюды. Дальше, дальше, дальше ехали они, пока не миновали знак с обозначением уровня моря – и не

остановились, их ждала дорога к самой низкой точке на Земле.

Вскоре они неслись мимо Мертвого моря; его синие, безбурные воды отражали небо. Море выделяло бром, тот насыщал воздух, оказывая утешительное, успокоительное воздействие на психику.

Сразу за Мертвым морем пустыня вступила в свои права, и здесь, спустя два часа после отбытия от Центральной, они остановились, потому что прибыли.

Парк Эвтаназии – зеленый оазис покоя. Они подъехали к воротам и припарковались на почти пустой парковке. Борис помог Владу выбраться из машины. Снаружи было жарко, сухой зной дарил легкость и негу. Поливальные машины с характерным «шуп-шуп-шуп» орошали идеальные лужайки.

– Отец, ты уверен? – спросил Борис.

Влад только кивнул. Сделал глубокий вдох. Пахнет водой и свежескошенной травой. Пахнет детством.

Они посмотрели на парк. Вот сверкающий голубым бассейн, где можно утонуть тихо и счастливо. Вот исполинская башня, иглой протыкающая небо, для тех, кто хочет прыгнуть и уйти в воздушном потоке. А вот и то, ради чего они ехали так долго. Маршрут Урбонаса.

Американские горки эвтаназии.

Названный именем создателя, Юлионаса Урбонаса, этот маршрут – чудо и гордость инженерной мысли. Он начинается с крутого подъема: полкилометра в высоту. Потом – съезд. Пятисотметровый съезд, затем – серия петель, 330 градусов, почти без перерыва. Сердце Влада забилось быстрее от одного взгляда на диковину. Он вспомнил утро, когда забрался на стену космопорта в экзоскелете. Уселся на верхотуре, на высшей точке недостроенного здания, и стал смотреть вниз, на чистый свет, и казалось, что ему принадлежит весь город, весь мир.

Он чувствовал, как толпятся внутри воспоминания. Требуют, чтобы он их принимал, удерживал, изучал, искал среди них ее имя, которого там не было. Влад вновь обнял сына и поцеловал сестру.

– Ты старый дурак, – сказала она.

Он пожал руку робопопу. Настал черед Мириам.

– Приглядывай за ним, – попросил Влад, указывая на сына.

– Я постараюсь, – в ее голосе звучало сомнение; но она улыбалась.

Дальше: Элиезер и Ибрагим. Два старика.

– Однажды я тоже что-нибудь такое проделаю, – произнес Элиезер. – Каков адреналин.

– А я нет, – сказал Ибрагим. – Для меня есть море. Только

море.

Они расцеловались и обнялись – в последний раз. Ибрагим вытащил бутылку. Элиезер достал стаканы.

– Мы выпьем за тебя, – сказал Элиезер.

– Обязательно.

И Влад их покинул. Он был один. Парк ждал, машинки бежали за ним по пятам. Он направился к аттракциону, сел в автомобиль и аккуратно застегнул ремень безопасности.

Автомобиль тронулся. Он медленно, медленно, медленно поднимался в гору. Пустыня далеко внизу; парк – крохотное пятнышко зелени. Мертвое море в отдалении, гладкое, как зеркало, и Владу показалось, что он видит жену Лота, ставшую соляным столпом.

Автомобиль достиг вершины, на мгновение замер. Влад наслаждался этим мгновением. Вкус воздуха на языке. И вдруг он вспомнил ее имя. Алия.

Автомобиль понесся вниз.

Влад ощущал, как притяжение сминает его тело, выталкивая воздух из легких. Сердце бьется быстрее, чем когда-либо, кровь прилила к щекам. Ветер воет в ушах, давит на лицо. Влад падает, потом наступает миг равновесия, и Влад кричит от восторга. Не оправившись толком от падения, автомобиль с Владом врывается в первое кольцо, несется пулей, скорость – 358 километров в час. Влад проносится по кольцу быстрее, чем воображал; а потом сгенерированная маршрутом Урбонаса чудовищная сила тяжести призывает его к себе.

Тринадцать: Рождение

– Он спит. – Мириам погладила Кранки по голове. Борис стоял у двери и смотрел. Над волосами спящего мальчика возник нимб, в него проецировались сны, составленные из молекул воды и частичек пыли.

– С ним всегда так?

– С трех лет.

Что это промелькнуло в сновидении Кранки – не грозовые ли тучи Титана?

– Когда он родился, я был далеко.

– Да.

– Он из родильной клиники?

– Да, – повторила Мириам. Взглянула на Бориса, в глазах – неотвеченный вопрос. – А ты?..

Остаток вопроса остался неспрошенным.

Ты знал?

– Я улетел прежде, чем он родился.

– Борис, я знаю!

– И помнишь? – спросил он. Внезапно его обвила ностальгия, болезненная, но цепкая. Борис шагнул к Мириам. В его коже пульсировал ауг. Он погладил ее черные волосы. Ее взгляд смягчился.

– Я помню.

Лето. Может быть, в юности вокруг – всегда лето.

Они расстаются смеясь. На его губах остается вкус ее поцелуя: жаркий и сладкий, как ежевика.

– Мне пора, – говорит он.

– Ты уверен? – спрашивает Мириам. Смотрит на него снизу вверх, в улыбке – вызов, и Борис понимает, что в горле пересохло. Он легко притягивает Мириам к себе, вдыхает ее аромат. Она тепла от солнца.

– Я должен, – говорит он, но неубедительно.

Он наконец уходит, позднее, чем хотел, и опаздывая, но это ничего. Солнце высоко в небе, зной такой, что Бориса шатает, но и это ничего. Он знает, что все и всегда будет просто отлично. Он шагает по улице и улыбается людям, и те улыбаются в ответ. Его здесь знают все. Борис Ахарон Чонг – дитя Центральной.

Родильные клиники занимали тогда скромный трехэтажный баухаусовский дом на границе района, на заброшенном шоссе, отделявшем Центральную от Тель-Авива. По изрытым колдобинами дорогам все еще колесили автобусы и личный

транспорт, направляясь на юг, в Иерусалим или в Газу, или же на север, в Хайфу или Ливан. Дом был древним, перелатанным, держащимся на плевке и надежде. Он имел форму корабля с окнами-бойницами. Некогда он считался классикой баухауса, множество образцов которого еще сохранялось в этой части города, напоминая о прежней, странной эпохе. В холле пахло средством для мытья полов.

На входе система здания считала личный тэг Бориса. Он кивнул ждавшим внутри парам, но не слишком приветливо, – он уже надел профессиональную маску, которую должен был носить, как высотники носят экзоскелет. Поднявшись по лестнице, вошел в лабораторию. Внутри располагалось царство медицинской прохлады, побеленных стен и мощных кондиционеров, которые очищали и стерилизовали воздух.

Первое, что бросается в глаза, – родильные камеры.

Они шеренгами выстроились вдоль стен: огромные чаны, похожие на промышленные стиральные машины. Они блестят: хром и стекло, пластик и трубы. Борис, как всегда, ходил между чанами, проверял показатели, удостоверяясь, что все идет как надо, и глядел на формирующиеся зародыши.

В размножении людей нет никакого волшебства. Яйцеклетка и сперматозоид – гаметы – соединяются, чтобы образовать зиготу. Конечно, она может образоваться и естественным образом, при соитии, как это было, есть и будет. Тот же процесс можно воспроизвести в лабе – вроде той, где работал Борис: выбрать один сперматозоид, изучить его, поместить прямо в яйцеклетку, тем самым ее оплодотворяя. Затем можно прочесть и запрограммировать генетический код зиготы, чтобы позволить ей расти и развиваться.

Можно выбрать цвет глаз из списка фирменных цветов и оттенков; можно убрать нездоровые гены и наследственные болезни. Вы хотите мальчика или девочку? Можно сделать так, что ребенок не полысеет преждевременно; можно выбрать тип волос. Можно сделать ребенка лучшим, насколько это в принципе возможно.

В конце концов, это Центральная станция. Что именно Борис – нынешний Борис, познавший на своей шкуре жизнь, ее разочарования и неожиданные повороты, – что *этот* Борис сказал Кранки, когда спустился с небес на Землю и вышел из космопорта?

– У тебя нет родителей, – сказал он. – Тебя вырастили в лабе, здесь, схакнули из геномов общего пользования и битого нода с черного рынка.

Эти лабы не использовали патентованный материал. Только

открытые коды и грошовые копии, местами – реверсивный инжиниринг и спираченные фрагменты.

Сперматозоид встречает яйцеклетку, создавая зиготу. Так происходит *традиционное* зачатие. Однако у современных людей есть еще и третий компонент, важный не менее двух гамет.

Нодальное семя.

Человек без нода – калека, инвалид. Вот как Ачимвене, брат Мириам, неспособный стать участником Разговора. Не иметь нода – непостижимо. Может, вы слышали о художнике Сандовале из Лунопорта – он удалил свой нод в подпольной мехлабе. Но он был безумен. Иначе как такое случилось бы?

Итого – три гаметы. Сперматозоид, яйцеклетка, нодальное семя. Они сливаются в зиготу. Та растет, формирует сердце, ноги, руки, уши, растет, расширяется, становится эмбрионом, его помещают в лабораторный чан. Борис шагал мимо строя этих чанов, заглядывал внутрь, его нод считывал показатели жизнедеятельности эмбрионов, проецировал их в воздух перед ним, эмбрионы росли и преображались.

– Что у нас сегодня?

– Миссис Лепковиц, – сказала Шири Чоу. Почти ровесница Бориса, старший родильный техник лабы. Она пила мятный чай и ждала, когда кончится смена. – Ты справишься?

– Сколько детей я произвел на свет? – спросил Борис. Шири пожала плечами. – Справлюсь и с малышом миссис Лепковиц.

– Не сомневаюсь, – бросила Шири. Пошла к маленькой раковине и помыла чашку. – Увидимся.

– Ага.

Борис слушал вполуха. Одна часть его сознания следила за родильными чанами. Другая смотрела «Цепи сборки», подключившись к марсианскому каналу. Третья мониторила внутреннюю коммуникацию клиники, наблюдала за ожидающими парами и тем, как доктор Вайс, дежурный консультант, принимал супругов, чтобы обсудить начало лечения. Забор яйцеклетки – рутина, отнимающая очень много времени. Сперматозоид добыть куда легче, мужчина должен всего лишь эякулировать. Женщина должна вырастить яйцеклетки, снабжаемые гормонами, потом эти яйцеклетки нужно извлечь. Остальное делается в лабе.

– Вайс, вы в порядке? – спросил Борис.

– Все отлично, – ответил он мысленно. – Борис, не забудьте…

– Да?

– Не выплесните ребенка вместе с водой.

Древняя, бородатая шутка. Борис не ответил, он продолжал идти мимо родильных чанов, смахивающих на центрифуги. Предпоследний чан – для миссис Лепковиц. Мальчик, все по

стандарту. Как говаривали раньше, домой писать не о чем. Миссис Лепковиц и два ее мужа ждали в приемном покое с отдельным входом. В сущности, несложная работенка: соединить гены двух сперматозоидов с яйцеклеткой женщины и нодальным семенем. Зачатие всегда сопровождала скромная церемония. Борис сверялся с протоколом и думал, что мог бы сейчас купаться в море или потягивать холодный молочный коктейль на пляже. Куда угодно, лишь бы подальше от запаха антисептика. Борис молча запустил родильную процедуру. Почти всю остальную работу делал чан. Зашипел сжатый воздух; чан открылся. Борис протянул руки и достал ревущего младенца. Осторожно обмыл крошечного человечка, завернул в пеленки. Младенцы пахнут по-особенному. Борис часто думал, что этот момент искупает все. Интересно, они с Мириам заведут детей? Если да, они сделают это старым способом, Мириам настоит – как пить дать. Борис взял младенца, чтобы отнести его родителям. Тот агукнул, поднял ручку. Вытянул пальчик, и Борис приблизил к ней лицо, стал гримасничать. Палец младенца коснулся лба Бориса.

Борис в пракосмосе. В нуль-вселенной. Вокруг – кромешная тьма. Он дрейфует по пространству без измерений, без Разговора. Брыкается, дерется, но драться не с кем и не с чем. Где он? Что он такое?

Постепенно светлеет. Борис плывет теперь в солнечных лучах. Повсюду звезды. Над головой восходит неимоверным миражом Сатурн. Планета надвигается, как величественная летающая тарелка из старого кино. Бриллиантово сверкают ее кольца. Борис слышит звук, который – вовсе и не звук. Внезапно на него обрушивается Разговор, безграничный поток сливающихся воедино фидов отовсюду, и сенсорная система не выдерживает. Он моргает – и он на Марсе, бродит по улочкам Тунъюня; он моргает – и он на Марсе-Каким-Он-Не-Был, в каналах журчит вода, четырехрукие воины скачут по лугам на гигантских животных; он моргает – и он в ГиАш в разгар войны гильдий, в исполинском, невозможном космолете, который рассекает континуум и палит в такие же корабли из лазерных пушек; моргает – и он в мире Брошенных, среди охотников на дикую технику, делящих тушу мертвой мехи, рвущих ее на части; моргает – и он над куполом Лунопорта, наблюдает за восходом Земли; моргает – и он в душной агломерации Полипорта на Титане, за пределами купола бушуют ураганы; моргает – и он везде, его сознание расщеплено, иссечено, он моргает – и…

Младенец агукнул опять. Борис стоял и тупо смотрел на ребенка. Покачал головой. Проблема с нодом? У него кружилась

голова. Надо пройти проверку. Прижав младенца к груди, Борис двинулся к выходу, в приемный покой. Три пары глаз смотрели на него с вниманием и надеждой.

– Мазел тов! – сказал Борис. – Это мальчик!

Традиционная реплика. В комнате, куда по таким случаям допускали посторонних, толпилась родня в большом облаке шума, отовсюду неслось: «Мазел тов!», «Поздравления!», «Надеемся поздравить вас взаимно!» Борис передал ребенка матери, которая теперь ласково улыбалась младенцу: рядом стояли ее мужья. Борис пожал им руки, поздравил и наконец выпроводил гордых родителей с виртуальной свитой на улицу. Закрыл за ними дверь и прислонился к стене.

Космические образы уже меркли в его сознании.

Тем вечером он встретил Мириам под навесами станции. Они обнялись и стояли так какое-то время; но их переполняла беспечная летняя энергия юности, и вскоре они бежали по полузаброшенным улочкам, держась за руки, смеясь; как будто смех был наркотиком, вроде веры. Потом они юркнули в многоэтажку, где жил отец Бориса. Забрались на крышу и там, среди растений и спящих солнечных батарей, занялись любовью.

Почему-то эта ночь запомнилась Борису больше всех остальных; он унес ее с собой в космос, в Верхние Верха, за Врата, в Тунъюнь, на астероиды; он вернулся с ней на Землю, в старый район, на старые улицы, на ту же крышу, отделенную от прежней столькими годами. Здесь они лежали на жаре, смотрели вверх и видели станцию; куда ни пойди, посмотришь вверх – увидишь станцию. Центральная вросла в облака: указательный столб и обещание чего-то далекого. Они были вместе, они переплелись и телами, и будущим; глядя вверх, думал Борис, он мог *видеть* будущее, светлое и сияющее, как звезда; но, быть может, это были всего лишь огни станции.

Они смотрели на дремлющего мальчика: они стали старше, отяжелели, их тела необратимо изменило время. В шее Бориса пульсирует ауг, живой, инопланетный. Но Мириам по-прежнему рядом, они ощущают тепло друг друга, и ход времени точно останавливается на миг, и они точно становятся ближе к границе черной дыры, и время распрямляется…

Борис не понимал родившихся детей, этих детей станции, хотя теперь уже и не скажешь, что они дети; и он отлично помнил – с щемящей тоской – собственное детство; нет, все-таки не ясно, отдаленно, сквозь приятную дымку последнего летнего дня, когда его отец был высоким и сильным, и станция врастала в

небо вечно – и не имела конца.

– Надо бы куда-нибудь выбраться на выходные, – сказал он, повинуясь импульсу. – Нам втроем. – Как семье, подумал он, но не сказал.

Семья, но все-таки другая. Не маленькая и компактная, «нуклеарная семья», нет: огромная, шумная толпа людей, все связаны друг с другом, двоюродные братья-сестры, тети-дяди, родственники супругов и так далее – сеть вроде Разговора и человеческого мозга. Вот от чего он пытался убежать, когда летел в Верхние Верха, – но только от семьи не убежишь, она следует за тобой, где бы ты ни был.

Возвращение ощущалось поначалу как слабость: он сдался. Но теперь рука Бориса обнимала Мириам, и мальчик спал, и наступала ночь, безмолвная, беззвучная, и в тишине он чувствовал то, что не смог бы выразить; нечто вроде любви.

– Да, – сказала Мириам. – Надо бы.

Тем летом они решили на денек выбраться из города, и сделали то, что делают в таких случаях горожане, – взяли напрокат машину.

Они ехали прочь от Центральной. Машина распростала мушиные крылья солнечных батарей. Они ехали вдоль берега, никуда особенно не направляясь, Мириам за рулем, Борис рядом, Кранки на заднем сиденье. Иногда мальчик говорил с друзьями. В каком-то смысле они были с ним всегда. Любое детство кончается, думала Мириам. Но не обязательно так быстро.

Они мчались по дороге, и солнце мчалось за ними по голубому, безоблачному небу; и города оставались где-то далеко-далеко.

Действующие лица

Мириам Джонс родилась и выросла на Центральной станции; она из семьи Джонсов, живших здесь поколениями. Владелица шалмана «У Мамы Джонс» и приемная мать Кранки. Молится святому Коэну Иных. Видный член общины.

Кранки Джонс – один из детей Центральной, выращенный в ее лабах. Мириам усыновила его, когда мать мальчика умерла от христолёта. По большей части – ребенок как ребенок.

Ачимвене Хайле Селассие Джонс – брат Мириам. Инвалид, родившийся без нода. Поэтому он глух к Разговору. Собирает древние книги и обладает гиперактивным воображением.

Юссу Джонс – родственник. Живет в адаптоцветном районе, окружающем станцию. Обручен с Яном. В настоящее время безработный.

Борис Ахарон Чонг – застенчивый, скромный мальчик, ставший врачом. Улетел с Центральной на Марс и дальше, но вернулся. Спарен с марсианским аугом. У него есть проблемы.

Владимир Мордехай Чонг – сын Вэйвэя. Как и отец, работал строителем, в частности, строил космопорт на месте центрального автовокзала. В конце жизни страдал от своего рода рака памяти. Отец Бориса.

Вэйвэй Чжун – основатель династии Чонгов. После визита к Оракулу создал Вэйвэево Безумие: все его потомки делят общую, групповую память. Китайский экономический мигрант, он переехал в тогдашний Израиль, устроился строителем и поселился в южном Тель-Авиве.

Тамара Чонг, она же госпожа Чонг-старшая, – сестра Влада. Последователь Пути Робота. Древняя и набожная, она намерена дождаться Трансляции в Разговор и, когда наступит время, сделаться чистым машинным разумом. Может быть грубой.

Ян Чонг – родственник. Ответственный член общины. Создает рекламные вирусы. Обручен с Юссу.

Исобель Чоу – из семьи Чоу, которые, как Чонги и Джонсы, живут на Центральной поколениями. Юная Исобель трудится в виртуалье, она – капитан во вселенной Гильдий Ашкелона.

Кармель – инфовампир, на нее охотятся. Родилась в «длинном доме» на Нг. Мерурун, крошечном астероиде Пояса. Заразилась кодом Носферату на борту космического грузовика «Захудалый Спаситель».

Ибрагим – старьевщик, альте-захен по прозвищу Властелин Ненужного Старья. Живет в Яффе на холме в историческом районе Аджами. Соединен с Иным. Очень похожего на него

человека видели в Яффе на протяжении многих столетий. Не исключено, что он бессмертен, если такое вообще возможно.

Исмаил – приемный сын Ибрагима; как и Кранки, ребенок Центральной.

Мотл – роботник. Ветеран давно забытых войн, ныне скитается. Зависим от христолёта, но борется с этим пристрастием. Обручен с Исобель.

Иезекииль – роботник. Вроде босса.

Брат Р. Патчедел – робопоп. Рукоположенный священник Пути Робота и хаджи, совершивший паломничество в Ватикан роботов в Тунъюнь-Сити. Подрабатывает моэлем.

Руфь Коэн – Оракул. Соединена с Иным. Оракулы обычно во все вмешиваются.

Мэтт Коэн – прародитель Иных. Признан святым. Слухи о его смерти могут быть преувеличены.

Элиезер – боготворец. Сомнительный тип. Возможно, Элиезер – не настоящее его имя. Как и Оракул, он обожает вмешиваться в чужие дела.

Билл Глиммунг – звезда множества романов и фильмов в жанре «марсианский нуар» (или «жесткач»). Выдуманный персонаж. Наверное.

Об авторе

Леви Тидхар – лауреат премии Британской ассоциации научной фантастики и Всемирной премии фэнтези. Тидхар родился в Израиле. Вырос в кибуце, жил в разных странах мира, включая Вануату, Лаос и ЮАР. «Гардиан» сравнила Тидхара с Филипом К. Диком, «Локус» – с Куртом Воннегутом. Последние романы Тидхара, The Violent Century и A Man Lies Dreaming, заслужили в Великобритании восторги критиков, «Индепендент» назвала обе книги «шедеврами». В настоящее время Тидхар живет в Лондоне.

От переводчика

Роман в рассказах «Центральная станция» входит в условный цикл, который Леви Тидхар (вслед за Робертом Хайнлайном) называет своей «историей будущего». Многие реалии, которые в «Центральной станции» упомянуты лишь мельком, более подробно описаны в текстах, которые в эту книгу не вошли; некоторые тексты еще не опубликованы – скажем, короткий роман «Цепи сборки», в котором описана одноименная марсианская мыльная опера, – и известны только по интервью и постам автора. Таким образом, не весь контекст известен, а значит, переводчику местами пришлось полагаться на интуицию.

Кроме того, Тидхар, будучи поклонником фантастики, обожает аллюзии на классическую и не очень НФ и фэнтези. Я решил не снабжать соответствующие места примечаниями – в конце концов, оригинал таких примечаний не содержит. Любители фантастики, конечно, поймут, откуда взялся глагол «убиковать» и чья именно реальность воссоздается на Марсе-Каким-Он-Не-Был. Стоит, тем не менее, упомянуть о том, что «синдром Мамаши Хиттон» и «святая К'Мелл» отсылают к рассказам Кордвейнера Смита, а словечко «кипль» – к роману Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (в существующих русских переводах этот неологизм передан словами «мусор», «хлам» и «хламье»).

Наконец, малоизвестная, но, мне кажется, важная деталь: упомянутый в романе единственный сборник стихов вымышленного израильского фантаста Лиора Тироша «Останки Бога» по странному совпадению называется так же, как вышедший в 1998 году дебютный ивритоязычный сборник стихов некоего Леви Тидхара.

Николай Караев